

---

## СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ РАССКАЗ

**Михаил Смирнов**  
(г. Салават, Башкирия)

**О, ВРЕМЯ, ПОГОДИ...**



*Смирнов Михаил Иванович, родился в городе Салавате в 1958 г., печатался в СМИ Башкирии, московских изданиях, интернет-изданиях и пр. Лауреат ряда литературных премий. Наш постоянный автор.*

Поднявшись на крыльцо, я остановился, глубоко вздохнул и невольно присел на верхнюю ступеньку — шутка ли: отмахал почти дюжину километров под дождем по раскисшему проселку; сто раз, наверное, вспомнил гоголевское: дороги в России расползаются, как раки. Пару раз, утомившись, я попытался передвигаться по травяной обочине, боясь зачерпнуть голенищами пудовых от налипшей грязи сапог коричневой жижи колеи. Но трава обочины, залитая водой, была скользкая, словно лед, и совершенно непроходима. Пришлось вернуться на фарватер.

Нелегко дался мне этот марш-бросок. И когда на пригорке показалась деревня, запела душа моя. А на крыльце — сморило. И я сидел на сырой досочке и осматривал скудный пейзаж осеннего сада. Редко краснели ранетки; рябины было много — к суровой зиме; между пышных кистей цвиркали синицы. Вдоль стены дома поленница; к сожалению, ольхи да осины много, бедноватый у нас в округе лес. Поверх высокой поленницы уложены куски рубероида, на фоне их аспидной черноты стекающие витые струйки кажутся хрустальными. Случайный лучик солнца коснулся одной — золото потекло с рубероида. Но уже вечереет. Над туманными купами дальнего леса черные стаи птиц, скоро они будут жить в теплых краях... Пора и мне; сыро, зябко, холодно.

Я толкнул тяжелую дверь, глаз не сразу привык к тьме. Но запахи! Терпко — вязанки чеснока и лука, на противоположной стенке — сухое разнотравье: душица, малина, иван-чай пучками да вязанками, разве все упомнишь? Уже и предметы проявились, а я вдыхал и вдыхал; у родины много запахов, но главные — в доме...

На здоровенных гвоздях висит все та же пара фуфаек (я прислонился к ним щекой), что-то вроде попоны, солдатская плащ-накидка с огромным капюшоном (как ты попала сюда, многострадальная?) Сапоги, фэззушные ботинки, у-у-у, какие большие. Но я знаю их — до чего же удобные! Толстые носки-то всегда на ноге — попадешь в обувьку эту не глядя и — на двор...

Я вышел наружу, вымыл свои резиновые, поставил их в модельный ряд. Споткнулся о лестницу — там, под крышей, наверное, есть сундук со старыми вещами. А скорее всего, он давно пуст — я же сам когда еще все там разворошил...

Я шагнул в избу, сбросил рюкзак и верхнее прямо на пол.

Баба Груня сидела на высокой лавке около печки и помешивала деревянной ложкой в чугушке.

— Здравсьте, баб Грунь! Наконец-то добрел... Опять печку ободрали? Завтра подмажу...

— Да я как заношу дрова, так цепляюсь. Говорила Кольке-печнику, чтобы чуток поменьше сделал, ан нет, не послушал. Наворотил. Дров не напасешься. А ты скидывай одежду, скидывай. Проходи, Санько. Как же ты добрался в такую непогодь? — словно не удивившись моему приезду, спросила баба Груня.— Хе-х, снова приехал осень провожать? Что в ней нашел-то? Грязища на улице, и дожди хлещут да хлещут. А говоришь, красивше осени ничего нет. Хе-х,— она мелко, дробно засмеялась и прикрыла рот ладошкой.

— Да, баб Грунь, к осени приехал. К ней, родимой.

Поздоровались, разговорились.

Всю жизнь меня удивляла эта особенность деревенских встреч — приедешь спустя хоть пять лет после последнего посещения, а беседа о человеке или событии словно и не прерывалась.

И однажды я почувствовал неизъяснимую прелесть этой странности — время мое и чувства словно восстанавливались, меня не утомляли не раз слышанные истории, да и сам со странным удовольствием я повторял уже не раз сказанное. В городской жизни подобное невозможно...

На бабе Груне старенькая линиялая кофтенка, застиранная длинная юбка, на поясице завязана шаль. На ногах топтыши, так она называла обрезанные валенки. На голове платок, из-под него выбились прядки седых волос. Она смотрела на меня блекло-голубоватыми глазами. Выдвинула из печи небольшой чугунок. Обхватила его серым, с пятнами сажи, полотенцем и поставила чугунок на стол. Достала карвай и начала отрезать от него толстые ломти:

— Как чуяла, что появишься. Точно! Глянула в окошко. Дождь хлещет, а ты вдоль забора идешь. Весь в Нюрку, в мамку, уродился. Она приезжала осень провожать, и ты взялся. Твою мамку многие с малых лет считали малохольной. Утром встанешь, чтобы коровку подоить, взглянешь, а она мелькает в платьишке возле воды — рассвет встречает! Мамка-то ее рано померла. Некому было за Нюркой приглядывать. Так и росла дичком. Думали, пройдет, когда замуж за залетного выскочила. Ан нет, просчитались! Каждую осень приезжала. У меня останавливалась. Вещички оставит и на речку мчится. А я на крылечко выйду и поглядываю. Она, бывало, сядет на берегу, уставится на воду или на лес и не шевельнется. Тепло ли, слякотно ли, снег сыплет, а ей все одно. Это она осень провожает! Вернется, а взгляд чистый-чистый, словно в церкви побывала. Господи, прости мою душу грешную! Переночует. Выйдет на двор. Прижмется к рябине, словно прощается. Обнимет меня и бежит на тракт, торопится в город поспеть... Хе-х, и соседи на тебя посматривают! Чать, и ты будешь сынка сюда привозить, а, Санько?

— Да, баб Грунь, буду,— сказал я и засмеялся.— Мы же все малохольные...

— Тьфу ты, прости Господи! Слышь, а что твоя Танька такая худющая? — взглянула баба Груня.— Плохо живете, да?

— А если хорошо живем, значит Танюха должна быть толстой? — склонившись над рукомойником, я засмеялся.— Она похудела, когда Сережку родила. Второго огольца родит, тогда поправится.

— Танька на сносях? — взглянула баба Груня. — А по ней не скажешь. Доска доской. Ну, дай Бог, дай Бог! — она взглянула в передний угол и быстро перекрестилась.

Я вытер руки и лицо застиранным полотенцем. Повесил его на вбитый толстый гвоздь. Потянулся. Прижался спиной к печи:

— Хорошо-то как! Ух, натопила!

— Пришлось. Покуда поросяткам приготовила. Щец наварила, и в печи потомила, как тебе нравится. Митяй, сын Вьюрихи, вчера свинку заколол. Кусище приволок. Ты, Санька, присаживайся. Хе-х, снова гостинцев понавез из городу? Да куда мне одной столько-то? Ну, ежели подружки зайдут... Угощу, побалую девчонок. Бери хлеб, бери. Свежий. Позавчера токмо испекла. Погодь-ка чуток, мы еще по рюмашке опрокинем.

Было заметно, как она обрадовалась моему приезду.

Я сидел на лавке и наблюдал, как баба Груня суетилась возле стола. Она достала из старого буфета большие тарелки. Фартуком протерла ложки и положила рядышком. Напластала розоватое сало с прослойками. Вынула из банки пару соленых огурцов с прилипшими семенами укропа и с какими-то листочками. Не очистив, разрешила крупную луковицу. Вытащила литровую бутылку с мутноватой жидкостью и две граненые стопки. Села напротив меня. Налила самогон вровень с краями и подняла рюмку:

— Ну, Санько, за проезд, — медленно выпила, замерла на мгновение и резко выдохнула. — Хороша, зараза! Выпей, Санько, для сугрева. Выпей, чтобы не захворать.

Я осторожно взял стопку. Поднял. Не решаясь, посмотрел на белесую жидкость.

— Что застыл, аки столб, Санько? — шепеляво спросила баба Груня, норовя откусить беззубыми деснами кусочек сала. — Не бойся. Пей. Чистая! Не то, что ваша химия. На пшенице ставила. Ох, хороша! Я теперь три стопочки, и хватит. Организм не позволяет. Старая стала.

— Баб Грунь, сколько тебе лет, если три стопки выпиваешь? — я спросил и засмеялся. — Сижу, не знаю, как одну-то осилить, а ты...

— Хе-х! — дробно раскатился смешок, и она шлепнула по бутылке. — Раньше, бывало, соберемся с подружками, так этой посуды маловато было. Выпьем, сметем со стола, что приготовили. Песен напоемся. Душеньку отведем в разговорах, и вставали трезвые, будто не пригубляли. Годков-то скока? Почитай, восьмой десяток доживаю. Многих уже нет на свете, а я небо еще копчу. Видать, рановато. Срок мой не подошел, Санько. Пей, не томи душу. Щи стынут.

Задержав дыхание, я опрокинул стаканчик и сразу закашлялся, внутри полыхнуло от крепкого самогона.

Баба Груня протянула кругляш огурца:

— Накось, закуси. Что слезы потекли? Крепка, зараза? Но хороша, хороша! Всю хворобу из тела выгонит. Погрызи огурчик. Скусный!

Вытирая выступившие слезы, я захрустел огурцом. Отмахнулся от второй стопки. Принялся за щи. В большой тарелке кусок разварившегося мяса с торчащей костью, крупная фасоль, картошка, капуста. Сверху, под золотистой пленочкой жира, кругляши морковки и венчик укропа. Вперемешку откусывал сало, хрустящие огурцы, подсоленный репчатый лук, перемалывал крепкими зубами, заедал вкусными щами...

Я облизнул ложку. Положил ее в пустую тарелку. Откинулся к стене и взглянул на бабу Груню.

— Ух, вкусняцкие щи! — пробормотал я, вздохнул и посмотрел на чугунок. — Умать бы еще тарелочку, да не уместится.

— Хе-х! А мой старик, бывало, вернется, стакан опрокинет, доньшком вверх пе-

ревернет — это была его норма. Ни разу за всю жизньюшку не видела, чтобы еще выпивал. Ложку возьмет, и давай наворачивать! Не успевала подливать да подкладывать. Пот в три ручья течет, а он еще самовар вздует, напьется чаю. Сядет возле печи. Засмолит козью ножку. Так и не приучился к папироскам. А потом выйдет на улицу и начинает то дрова пилить, то навоз убирать. Ох, жаден был до работы! Царствие ему небесное! — баба Груня мелко перекрестилась и посмотрела на темную икону. — Вижу, Санько, спать потянуло? Погоди чуток. Чайку еще попьем с баранками и уляжешься.

— Нет, баб Грунь, хватит,— я направился в горницу.— Утром встану пораньше. Хочу на речку сходить да в ельничке прогуляться.

— Не знаю, не знаю,— сказала баба Груня, держась за поясицу.— Косточки ломит. Чую, к утру разведрится. Кабы мороз не ударил.

Оставшись в трико и футболке, я улегся на старый диван. В полутьме были заметны висевшие в рамках старые фотографии. Отсвечивало зеркало, засиженное мухами. Возле голландки, за занавеской, виднелась баб Грунина кровать — старая, с облезлыми шариками на спинках. Я в детстве старался их открутить. На половицах лежали самотканые цветные дорожки. В красном углу мерцал огонек лампадки перед образами, напротив двери стоял большой комод с разнокалиберными флакончиками, с пузырьками из-под лекарств и прочей мелочью. Возле окна, над столом висели старые ходики. Так было всегда в горнице, сколько себя помню. Сквозь полудрему я слушал шелест дождя за окном, как баба Груня что-то тихо говорила и звякала посудой, убирая ее в шкафчик. Потом она прикрыла меня ватным одеялом, и я заснул.

Очнулся от странной тишины за окном. Казалось, баба Груня продолжала позвякивать чугунами. Она шаркала топтышами да бормотала по-старушечьи, по привычке. И в то же время, что-то изменилось, чего-то не хватало в привычных звуках. Я прислушался. Скрипнул пружинами старого дивана, поднялся и, потянувшись за свитером, взглянул на окно. Здесь-то до меня дошло, что не слышно звуков дождя, лившего несколько дней подряд. Я раздвинул занавески. Всмотрелся в предутренние сумерки.

— Чего соскочил в такую рань? — донесся неторопливый говорок бабы Груни, и она заглянула в темную горницу.— Говорила, что разведрит, так и случилось. В сараюшку пошла, Зорьке сена надергать, дык еле спустилась с крыльца. Шла по двору, аж хрустело под ногами. Морозцем прихватило землю да лужи. Куда ни глянь — все покрылось ледяной коркой. А ты собрался осень провожать. Хе-х! — она дробно засмеялась и махнула рукой,— сиди дома, Санька, грейся. Нечего по морозу шляться.

— Нет, баб Грунь, схожу,— сказал я.— Пройдусь вдоль берега. Может, зацеплю шучку. Поджарим на обед. Потом проведу ельник и вернусь,— и снял с гвоздя старую фуфайку.

— Погоди, Санько. Побежал, не завтракавши, как и мамка твоя,— засуетилась баба Груня.— Горячего чайку попей с баранками. Душеньку согреешь.

Я налил чай и стал отхлебывать. Поставил кружку на стол. Надел сапоги. Взял рюкзачок, в котором лежала коробка с блеснами. Едва открыл дверь, как баба Груня протянула старую шапку:

— Надень. Голову застудишь. Санько, пока ходишь, я свежатинки нажарю. Вчера-то не угостила. Да чугунок со шами подогрею. Долго не шлендай. Обед простынет. Ну, беги, провожай свою осень, провожай. Эть, краса... Хе-х!

Я взял спиннинг. Спустился с крылечка, держась за холодные шаткие перильца, отполированные ладонями за долгие годы. Ледяная корочка хрустнула, когда наступил на землю.

Взглянул на розовеющее небо. Не та погода установилась для щуки, не та. Ну и ладно. На берегу посижу, погляжу на речку, на воду...

Стараясь не наступать в колею, покрытую тонким слоем льда, я прошел вдоль заборов. Кое-где виднелся свет в домах или мелькал багровый огонек лампадки. Выбрался за околицу. В низине, укрывшись кустарником, протекала неширокая речушка. Я каждую осень приезжал в деревню. Уходил на речку. Иногда ловил щучку, а чаще — просто сидел на берегу и наблюдал за водой, за деревьями. Прогуливался по лесу и навещал ельник, что разросся неподалеку от деревни.

Похрустывала под ногами пожухлая трава. Репейник, будылья крапивы, заросли чилиги стояли припорошенные колким инеем. Проваливались ноги, ломая ледяную корку. Чавкала грязь, и почти сразу же ее прихватывало крепким морозом. Но пройдет немного времени, и под солнечными лучами снова предстанет взору неприглядная для постороннего, но любимая мною краса осенней природы.

Я спустился с небольшого обрыва на прибрежную полосу речушки, которой и название-то давно забыли. Любой житель или прохожий называли ее всяко, как вздумается, в зависимости от настроения. Одним словом — безымянная. Остановился возле кромки. Сквозь прозрачные закраины видны полегшие водоросли. Испугавшись меня, сверкнула серебром рыба мелочь и исчезла в глубине. Во льду застыл желтый березовый лист. А там, на открытой воде, разошлись небольшие круги. Нет, это не щука. Так... Верховка балует. Резвится. Куда же вы несетесь, мелочь? Не думаете, что под любой корягой или валуном вас ожидают щучка или судак. Эх, молодь, сеголетки...

Присел на холодный валун. Странное, слегка тревожное, но и восторженное чувство охватывало меня, когда я оказывался возле реки. Хотелось вдыхать и вдыхать тонкие ароматы воды, жухлых трав, опавших листьев. В такие моменты я чувствовал горечь неизбежности расставания со всей простой прелестью осенней природы. Но наполнялась душа благодарностью к скромным, но драгоценным дарам ее. Долго наблюдал за речкой, несшей воды куда-то вдаль. В ту даль, где я еще не был. И буду ли? Пока не знал... Потом взобрался на небольшой обрыв. Осмотрелся. Я же решил навещать ельник, он зеленел неподалеку от деревни.

Казалось, я недолго находился возле речки, а вокруг уже нет той утренней морозной красоты, когда шел сюда. На открытых местах сиротливо торчали нагие кустики репейника. Под ногами реже похрустывало. Опять зачавкала грязь. С трудом перебрался на взгорок, где начинался ельник. Раздвигая ветви, я направился в сторону деревни. Посматривал на яркий зеленый наряд, на желтовато-коричневый слой опавшей хвои с вкраплениями старых шишек и белую морозную бахрому, она сохранилась под нижними лапами ельника. Слушал цвирканье синичек. Вскоре вышел на маленькую поляну, окруженную высокими елями. И здесь мне показалось, будто под лапой, в теньке, что-то мелькнуло. Остановился. Приподнял колючую ветвь и удивленно присвистнул. Передо мной, с прилипшими к шляпкам иголками, приютилась небольшая семейка рыжиков. Откуда же вы, родимые? Ваше время давно закончилось! Долго я смотрел на них. Любовался в углублениях шляпок замерзшими капельками воды, которые превратились в тонкие ледяные снежинки и словно паутинкой затянули доньшко. Но по краешкам шляпок уже была черноватая полоска от первого заморозка. Опасаясь дотронуться до льдистых снежинок, я достал нож и срезал рыжики. Снял шапку. Уложил туда грибы. Опрометью бросился к дому, чтобы показать бабе Груне необычные, сверкающие снежинки и сами рыжики, что не ко времени появились на свет, украсив ярким цветом осенний унылый наряд.

— Баб Грунь, баб Грунь, — крикнул я, ввалившись в избу, — иди сюда быстрее! Глянь, краса-то какая!

Подслеповато шурясь, баба Груня вышла из горницы.

— Эть, малохольный,— она проворчала и нахмурилась.— Шлендаешь по морозу. Что в дом притащил? Точно, в мамку уродился, в мамку!

— Глянь, баб...

Она подошла, шаркая топтышами. Заглянула в шапку, откуда торчали рыжие головенки грибов с льдистыми коронками, и недоверчиво посмотрела на меня.

— Не может быть, Санько! — и снова склонилась над шапкой.— Откель такое чудо взял? Хе-х! Зима на носу, а ты грибы разыскал. Эть невидаль-то! Осень долгой была, поэтому они появились. Времечко свое спутали.

Прошло несколько минут. Снежинки превратились в чистые прозрачные капельки осеннего дождя и ртутью перекатывались по доньшкам запоздалых грибов.

— Раздевайся, Санька,— сказала баба Груня.— Заждалась тебя. Чугунок да сковородку не вынимала из печи. А с ними что делать? Поджарим? — и положила рыжики на стол.

Я посмотрел на грибы. Пахнуло горьковатым запахом свежих рыжиков. Словно время вернуло нас в прошедшее лето, приготовив гостинец перед долгой и суровой зимой. И не удержался, ткнул пальцем:

— Последний подарок... Баб Грунь, посмотри, краса-то какая!

Это и есть твое окно в природу, человек суетный.



## **Александр Мошна**

(г. Харьков, пос. Песочин, Украина)



*Родился в Харьковской области. Член Союза журналистов Украины. Лауреат конкурсов «Мастер» в еженедельнике «2000», в еженедельнике «Крокодил в Украине», в журнале «Крокодил +» (Киев).*

*Дипломант Международного литературного конкурса «Православная моя Украина» и юмористического конкурса «Ешкин кот» (Керчь). Лауреат Международного литературного конкурса «О любви к Родине» (Москва). Дипломант литературного конкурса на призы издательства «Эксклюзив» (Харьков) и Дипломант Международного литературно-музыкального фестиваля «Звезда Рождества» (Запорожье).*

*Автор книги «Ощущение свободного полета». Публиковался в журналах Украины, России, Белоруссии. Ряд миниатюр и рассказов переведены на немецкий язык.*

### **ДА СКОЛЬКО ТОЙ ЖИЗНИ...**

— Если переступаешь порог дома, следи, чтоб в голове никаких посторонних мыслей нельзя было обнаружить. Желательно, чтоб восторженность впечатлений струилась исключительно в мою сторону,— сказала мне как-то жена, серьезно обидевшись на то, что я проморгал отметить «косметическое убранство» на ее голове. И при этом «воткнула шпильку», съехидничала:

— Доживу ли я до той минуты?

— Доживешь,— бодро успокоил жену и нарочито долгим, внимательным и оценивающим взглядом смерил ее с головы до ног и шутливо выдал заключение:

— Немного уже осталось.

— До чего немного осталось? — дрожащими губами, эхом прошелестела супруга и, перехватив мой сочувствующий взгляд, испуганно вздрогнула. Глазами, полными слез, уперлась в мой подбородок вопросительно.

— До той минуты,— скупое и невозмутимо обронил я, вспомнив классика, что краткость — сестра таланта.

— До какой — той? — продолжала вытягивать из меня подробности жена и тут же наматывать их на свою нервную систему. И здесь ее вдруг прорвало:

— Ты что-то знаешь? Тебе врач сообщил, что я неизлечимо больна? У меня рак?

Я ничего не успел сказать, как она торопливо, упавшим голосом, пролепетала:

— Я так и знала. Я чувствовала, что этим все кончится.

И, окончательно сломленная, рухнула на стул. Я озабоченно потрусил в кухню, где предпринял попытку усердных поисков стакана и чайника.

В это же время короткими очередями выкрикивал в прихожую:

— Откуда такие гнусные подробности? Кто тебе их напел? Подумай сама — в твои-то годы?

— Что в мои годы? — подняла заплаканные глаза супруга, когда предстал я перед ней со стаканом в руке.

Вижу, события принимают несколько опасный оборот. Надо срочно перестраи-

ваться, а то, не приведи Господи, здоровье свое подорвет, сляжет. А кто ж борщи мне будет готовить? И стал я вдруг заботливым, осторожным и внимательным.

— Ты же очень у меня молодая,— заворковал я,— разве ж рискнет болезнь скрестить с тобой шпаги?

Я понимаю, что несу чепуху, но здесь, казалось мне, главное — не останавливаться, и смысл сказанного подкреплять убедительной интонацией.

— Ты же у меня так мила и прелестна. Любая болезнь только один раз скосит свои глаза на тебя и, ослепленная твоей красотой, забудет, чего приперлась. Микробу, к примеру, от одной твоей обаятельной улыбки враз от зависти рожу перекосит. А каждую бактерию непременно кондратий хватит, если ты пройдешься перед ней своей неотразимой походкой в туфельках на каблучках и в том, помнишь, голубом платице с белыми хрюшечками.

— Рюшечками,— мягко поправляет меня жена, доверчиво уставив на меня свои наивные немигающие глаза.

— Рюшечками,— согласно откликаюсь я, киваю утвердительно головой и продолжаю будить свою фантазию. Но чувствую, что требуется привал. Сказывается отсутствие репетиций. Смутно догадываюсь, что речь моя должна быть краткой и емкой, поэтому надо было срочно швартоваться около какой-то убойной фразы. Я напрягся, подыскивая лихорадочно слова, и ляпнул:

— И потом: тебе ничто не может угрожать, пока я с тобой. И знаешь, почему?

— Почему? — покорно, как ребенок переспрашивает меня жена и замирает в ожидании.

Я демонстрирую мхатовскую паузу, а жена не выдерживает этой пытки и пересохшими губами снова нетерпеливо повторяет:

— Почему?

— А потому что я...— и здесь мой голос предательски срывается на шепот. Оказывается, трудно все-таки выдавливать некоторые слова, если ты их лично прочувствовал и, не расплескав эти самые возникшие чувства, стараешься донести до собеседника:

— А потому что я тебя люблю.

Жена, счастливая, расплывается в улыбке. И я отмечаю про себя, что ей это к лицу. Не успеваю еще что-то додумать, как супружница моя благодарно потянулась ко мне. И я уже торопливо закончил фразу около ее губ:

— И моя любовь всегда будет твоим надежным щитом...

Награда, безусловно, нашла своего героя. Но я о другом. Скажу по секрету: еще до того, как благодарная и восторженная публика в лице моей жены окатила меня нежностью, я изрядно вспотел. Признаться, нежные слова поначалу давались мне с трудом, застревали в горле. А потом, со временем, знаете, втянулся. И, по словам моей женульки, в будущем у меня неплохие перспективы. Нежности свободно могу произносить без запинок и шептать с трепетной интонацией. Признаться, я уже регулярно балую свою любимую. А что? Терзать друг дружку скандалами и портить нервы — никакой романтики. Скучно, господа, неинтересно, да и сколько той жизни...

## **ПРЕЗЕНТАЦИЯ УДАЛАСЬ, ИЛИ СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ**

Презентация книги стихов прошла «на ура». Я давно такой не видел. Народу собралось прилично. Кого здесь только не было! Я даже успел завязать знакомство на перспективу. Телефончиками обменялись. А все вокруг наперебой поздравляли и хвалили героя вечера за его умение видеть далеко, но не отрываться от близких и друзей. Высказывать свое понимание жизни, но при этом не рваться необузданно в заоблачную высь. Говорить с тобой поэтическим языком высокого штиля, но без переводчика. Держать планку на приличной высоте, но без тех закидонов, «зауми», отчего чувствуешь себя дебилом без всякой надежды на выздоровление. Вести за



собой тихо и к прекрасному, но не с грохотом перетряхивая и смакуя «нижнее белье», и находить в том, подобно токсикоману, «ароматы» действительности.

Слова звучали сердечные и душевные за столом под звон бокалов. Но как только все было выпито, приглашенные стали торопливо и скучно прощаться. Некоторые просили пригласить их и на презентацию следующей книги, настойчиво совали свои визитки. А друг детства так расчувствовался по пьяни, что старательно облобызал виновника торжества и проникновенно заметил:

— Ты отлично подготовился, дружбан. Про коньяк не забыл — хвалю! Короче — презентация удалась!

— А как тебе книга? — робко спросил герой вечера.

Собеседник съто икнул:

— Откровенно тебе сказать, я готов перечитывать твои творения бесконечно. Ты только пригласи, — и он широким жестом указал на стол, — никогда не посмею тебе отказать. Я ведь понимаю всю тонкость души поэта. Ему важно, чтоб рядом были поклонники.

— Спасибо за понимание, — кисло улыбнулся хозяин попойки, бережно снимая с губ поклонника, как с елки игрушки, остатки салата, и при этом уклоняясь от очередного лобзания.

## КЛАДБИЩЕ

Недавно появилась у меня несколько странная привычка: захаживаю на кладбище и размышляю о жизни. Изумляться особо и нечему — о жизни задумываться не помешает каждому. Странно другое: почему-то всегда с опозданием у нас это выходит. Не зря же говорится: всю жизнь учишься, а дураком помрешь. Только вот с возрастом и постигаешь вдруг с огорчением, что откровенно просачковал в своей жизни. И перелопачиваешь обиженно свое прожитое, чтоб отыскать что-то привлекательное для глаза и маленько душу успокоить. А она ведь бунтует! И носишься с охалкой неустроенных мыслей своих, не знаешь, куда их и приткнуть, чтоб только унять этот пронзительный и неподкупный голос совести.

Но от себя далеко ли ускачешь? И варишься в собственном соку терпеливо и отважно, покорно тащишь свой крест. А афишировать обреченность — тоже ведь абсолютно никакой охоты. Петушишься, гримасничаешь, чтоб только отмести подозрения и удержаться на этой жердинке духовных ценностей, только б не столкнули тебя проворно в пропасть бездуховности. Вот и цепляешься за сиюминутное, не заглядывая за горизонт. И выгибаешься, незаметно для себя, выпутываешься из этих сетей, что постоянно набрасывают на тебя с разных сторон, чтоб стреножить и умертвить душу твою, превратить тебя в бесчувственный чурбан или отморозка.

А ты, словно дон Кихот, упрямо и смешно бунтуешь, продолжаешь лихо размахивать деревянной шпагой, словно на подмостках сцены. Сопровивляешься этому железному монстру, которого почему-то называют прогрессом. Совсем не таким он тогда мне виделся вдалеке. Теперь все отчетливей понимаешь, что обознался. Или вскормили его не тем молоком, или среди нас появились какие-то мутанты, что и заправляют прогрессом на погибель всему человечеству.

А на кладбище думается хорошо. С грустью, со слезами на глазах, с нежностью и любовью, трепетно и молчаливо размышляешь о смысле жизни. Исповедуешься сам себе по полной программе. А рядом с этими холмиками невозможно слукавить и думать о чем-то мелком. Философом становишься неожиданно. Отрываешься от житейских проблем и паришь себе легко среди крестов, которые, как люди, грустно растопырили свои руки и замерли в глубоком недоумении, словно никак не могут уяснить себе: почему это приковали их здесь на вечное поселение?

И бродишь между холмиками осторожно, в задумчивости, всматриваешься в лица умерших на фотографиях, надписи считаешь, вычисляешь, сколько прожил человек, — и мысль невольно подкрадывается и спринтером проносится зримо, как на телетайпе: «Вот так и ты однажды, когда придет твой час, будешь лежать в сырой земле в ожидании своих хробаков. А наверху народ будет шнырять среди могил. И какой-то тип непременно остановится и около твоей, вылупится на твою физию, что на портрете, любопытство поспешит заострить вниманием и станет прикидывать в своей башке, сколько же это лет успел ты проскакать на этой планете?..»

И грустно становится, необъяснимо горько, и думается о прошлом, и будущее вызывает надежду. Хочется непременно быть добрее и честно выполнить свою миссию на земле. Щедро отдать себя всего людям, чтоб не зря все это.

И уносят мысли тебя глубокие так далеко, что невольно вздрагиваешь с опаской и оглядываешься в тревоге. И душа не выдерживает такого надлома, и неожиданно безадресно заскулит вдруг обиженно и беспомощно. И этот вопль отчаянья тихо зависает над кладбищем...

### **ОСТАВИТЬ ПОСЛЕ СЕБЯ ЧТО-ТО ДОБРОЕ**

Еще с детства бредил я профессией путешественника. Как приходило лето, так и отправлялся по чужим садам. Правда, окружающие не всегда верно понимали мои устремления, многие и не догадывались, что таким вот образом я будил любовь к географии.

Не знаю, как там Колумб, лично я знаменит стал всего за одно лето. Все началось с того, что хитрый дед Кузьма устроил засаду и изловил меня на своей яблоне. После чего отстегал крапивой ниже пояса и отпустил с миром.

Такой пещерный и коварный дедовский способ воспитания вызвал у меня бурю негодования, и я, подхватив подштанники, с ревом носился некоторое время вокруг деревни.

О других страницах своей биографии я скромно умолчу. Но страсть к путешествиям тихо и навсегда поселилась в моей душе. Поэтому и сейчас люблю повояжировать. Как говорится, себя показать, других посмотреть. И здесь совсем неважно, куда и зачем чесать. Главное — быть в движении. А движение, говорят, — это жизнь. Вот и пытаюсь насладиться отрезком времени, что отпущено мне судьбой.

А кругом — красота неписанная. Непаханое поле восторгов и восклицаний. Пора монологов и откровений.

Господи! Как славно жить на земле. Как здорово просто дышать и наслаждаться свободой. Мечтать безгранично и легко улыбаться по пустякам. Только вот удержать бы себя от мелочных обид и зависти, выкорчевать изнутри эту занозу — «перемыкать косточки» своим братьям и сестрам. Плакаться в жилетку.

Братцы! Рванем на природу. Вслушаемся в шуршание листвы, философское молчание лесных долгожителей и щебетание птиц. Очеловечимся! Детство свое вспомним и улыбнемся восторженно и без оглядки, выразим на своем лице искреннее изумление и радость. Просто так. От полноты чувств. И с такой трепетной нежностью осторожно прикоснем к своему собрату свои озявшие души. И доверчиво посмотрим в глаза друг другу открыто и с любовью. Как перед дальней разлукой.

Так уж случилось, всем нам начертано быть путешественниками. И находимся на этой земле в качестве гостей. Прозвонит звонок, и кого он где застал — тот немедля и навсегда отправляется в путь. Только успеть бы попрощаться, сказать свое последнее «прости».

Еще хочется непременно оставить после себя что-то доброе и хорошее. Пусть не в мраморе или бронзе запечатлено, не в книгах рассыпано. Хотя бы в воспоминаниях своих близких и родных. На первые пятьдесят лет.

**Йосси Кински**  
(г. Москва)

**ХАРЛЕЙ-ДЭВИДСОН**



*Родился в 1980 году в семье инженера. Выпускник Университета культуры и искусства по специальности «Художественное творчество и экранная драматургия (сценарист)». Публикации в лит.журналах России, США. Автор более 10 киносценариев, нескольких театральных пьес.*

Сквозь сон Ивану почудилось, что чьи-то цепкие руки сомкнулись на его горле. Он попытался вдохнуть, но ничего не получилось. Страхивая остатки ночного кошмара, он резко сел на своей кровати. Сердце колотилось в груди, будто птица, пойманная в силки. Он жадно ловил губами воздух и тарасил глаза, похожий на выброшенную на берег рыбу. Вдруг вдох получился. Иван всей грудью, всем животом стал тянуть в себя воздух, но его мучительно не хватало. Он рванулся к окну и резким движением рванул фрамугу на себя. Но даже высунув голову в окно, Иван не ощутил облегчения. Деревья стояли неподвижно, листья не шевелились. Хозяйская собака, положив голову на передние лапы, мирно спала возле стоящего мотоцикла. Воздух казался густым и тяжелым. Он тягуче обволакивал все вокруг, но поймать его ноздрями и вдохнуть всем объемом легких никак не получалось. Показалось, что время остановилось. Блуждая по комнате в поисках помощи, взгляд зацепился за стрелку часов на стене. Фосфорный носик толстой стрелки едва ощутимо вздрагивал где-то в районе цифры три. С каждым звуком, сопровождающим ход тоненькой, с волосок, секундной стрелки, в темноте невозможно было различить, Ивана покидали силы. Хватаясь за углы мебели, он раненым зверем стал пробираться в сторону кровати, в которой мирно посапывала жена, свернувшись в позе зародыша. Он опустил тяжелую ладонь на ее хрупкое плечо и стал трясти изо всех оставшихся сил. Едва приоткрыв глаза, она произнесла что-то нечленораздельное и, причмокивая, перевернулась на другой бок. Иван стал валиться набок и локтем с размаху бухнулся на нее, простонав: «Умираю...». Жена рванулась с постели, дернула веревочку, и комната осветилась мягким желтым светом ночника, разбрасывая по стенам и потолку причудливые узоры.

Держась за сердце, он тяжело дышал, а в углах посиневших губ показалась пена. Синеватый кончик носа напоминал созревшую сливу. Бессмысленный взгляд остановился в одной точке и напоминал пару выпавших на экране игрового автомата фруктов, совпавших в момент выигрыша. Жена стала хлестать его по щекам:

— Ну, что же с тобой случилось?

В какой-то момент Иван прохрипел:

— Воздух... Мне нечем дышать! Я умираю!

Эмили плачущим голосом выкрикивала:

— Где болит? Скажи! Что делать? Как тебе помочь? — но он ее уже не слышал.

Вдруг Иван издал какой-то звук, похожий не то на одышку, не то на кашель, и снова открыл глаза.

— Скорую! — просипел он сдавленным голосом, но, посмотрев на ошарашенную и застывшую от ужаса жену, прикрикнул: — Быстро! Врача!

Его вопль разбудил спящего в соседней комнате сына. Фигурка заспанного мальчонки возникла в дверях. Глядя на корчащуюся от боли фигуру отца, он замер на мгновение, а потом поднял глаза на мать:

— Что с папой?

— Позвони в скорую! — крикнула Эмили, на которую вид беспомощного и взъерошенного после сна подростка подействовал отрезвляюще, и она вспомнила, что уже давно выросла и должна сама принимать важные и ответственные решения не только за себя. На ходу зацепив ногами мягкие тапочки, она помчалась на кухню за водой.

Мальчик иступленно колотил ладонью по кнопке телефонного аппарата, но долгожданных гудков не было. Телефон уже несколько месяцев был отключен из-за долгов. Ребенок выскочил из дома, перебежал на другую сторону улицы и схватил трубку телефонного автомата в будке.

— Алло, нам срочно нужна скорая помощь! Отец умирает! Семнадцатый округ, седьмой дом. Быстрее, пожалуйста! — выкрикивал он в ответ на вопросы с другой стороны телефонного провода.

От вчерашнего Ивана ничего не осталось. Сегодня он был бледен и метался, как больной клаустрофобией, застрявший в кабинке лифта. Сын побежал в круглосуточную аптеку на углу улицы, сжимая в руке листок с назначениями врача.

Иван жадно тянул содержание кислородной подушки. Рядом на стуле жалобно всхлипывала и иногда тоненько скулила Эмили. Пару минут спустя Иван прохрипел:

— Эмили, не плачь! Я никогда не думал, что все так быстро... Я никогда не был тебе хорошим мужем.

Эмили много лет прожила рядом с Иваном. Она видела его трезвым, пьяным, буйным, радостным. Но представить его вот таким, кающимся и виноватым, она не могла и даже никогда не пыталась этого сделать. Такой жалкий вид Ивана и жалкий тон этого разговора настолько не вязались с привычным образом brutального мачо, которому всегда соответствовал этот огромный богатырь, что пятнадцатилетний сын, вернувшийся из аптеки, выронил пакет с лекарствами на пороге комнаты. Парень вдруг осознал, что из этого огромного и мощного тела прямо на глазах уходит жизнь.

Давным-давно, когда совсем юной девчонкой Эмили с замиранием сердца подбирала слова, чтобы сообщить Ивану о своей беременности, он просто расхохотался и заявил, что женится на ней, может быть, только когда состарится, ей пришлось принять эти условия безоговорочно, ведь дома ее никто не ждал. Пьяный отец, услышав ее разговор с матерью, выгнал из дома, и ей больше не на кого было рассчитывать. Все эти годы она терпеливо ждала, когда же ее супруг осознает, что старость уже дышит на него. Он со смехом принимал и первую седину, и первые приступы радикулита, когда, как молодой, хорохорясь перед молоденькими спортсменками в зале, брал слишком тяжелый вес, и даже свою регулярную мужскую несостоятельность списывал на неумелые ласки малоопытной жены. И она безропотно все принимала и ждала, ждала. И вот он перед ней, так и не состарившись, умирает...

— Что же будет с нами? — спросил Иван затихающим голосом.

Его грудь тяжело заходила в движении, жадно вбирая в себя содержимое кислородной подушки. Немного погодя, он снова заговорил:

— Хватит! Я не хочу, чтобы после моей смерти моего сына в школе стали называть ублюдком, потому что за него больше некому заступиться! Дайте мне бумагу и ручку!

Мальчик исполнил распоряжение отца, и неровный почерк стал покрывать чистый лист.

— Держи!

Эмили бросила беглый взгляд на протянутый дрожащей рукой супруга листок. Там было заявление о признании законным их незарегистрированного брака.

Шестнадцать лучших лет своей жизни она ждала именно этого момента и верила, что если он каждый раз возвращается к ней с самых дорогих и известных европейских курортов, то ждет она не напрасно. Даже когда она нашла в его сейфе, не закрытом второпях, его донжуанский список, который пополнялся после каждого отпуска все новыми именами и номерами телефонов, она отогнала от себя тяжелые мысли и убедила себя в том, что верность, видимо, совсем не мужская добродетель. И никогда она не требовала никаких объяснений, не устраивала постыдных сцен. Просто молча, тихо и преданно ждала, что однажды он переберется и останется с ней навсегда. Не было никаких сомнений в том, что там, на курортах и в роскошных круизах во время романтических свиданий на палубе в лучах заката, он не вспоминал о семье ни на миг.

И вот предчувствие шага в вечность напомнило ему вечную истину: после игры ферзь и пешка ложатся в одну коробку. На кровати громоздилась лишь беспомощная туша, жизнь которой зависела от глотка воздуха из кислородной подушки. Осознав это, Иван заторопился по-человечески проститься с семьей, сказать им какие-то теплые слова. Он знаком пригласил сына приблизиться. Тот наклонился над кроватью.

— Сынок, там, во втором ящике письменного стола, коробка от сигар. Принеси ее.

В увесистой коробке оказались ключи, три банковские карты, евро, фунты, доллары.

— Запиши их коды: 17-17. У всех код совпадает. Я специально так сделал, чтобы не путаться.

Эмили не поднимала глаз на эти сказочные богатства. Ее внимание привлекла круглая дырочка на старой и залатанной на локтях единственной рубашке сына. На правом кармане была еще одна, прожженная случайно. Именно из-за этого в свое время рубашка и досталась сыну от отца в подарок после очередного отпуска. Сам же Иван был полицейским, и круглый год носил форму. А сорил деньгами только во время отпуска, когда гулял на полную катушку и, чтобы путешествовать налегке, не стремился забирать с собой чемоданы новой одежды, купленной там по случаю.

Из тягостных раздумий Эмили вывела странная фраза умирающего:

— На счете в Центральном банке у меня есть немалая сумма, правда, не представляю, как вы ее получите.

И вдруг Эмили прорвало:

— Что ты сказал? Деньги у тебя есть? А кому они нужны в твоём банке, когда нам здесь дыры в семейном бюджете латать не за что! — с каждым словом тон Эмили набирал обороты и громкость. — Да чтоб ты сдох вместе со своими деньгами, счетами и банками! Избавь нас уже от себя, наконец!

Последние слова она уже глотала вместе со слезами, рекой текущими из глаз. Иван сочувственно посмотрел на жену. Сердце его впервые сжалось от жалости. Он поспешно завершил размашистой подписью доверенность на имя сына. Вдруг глаза его расширились, щеки стали раздуваться и появилась сильная одышка. Как из загробного мира, в тишине прозвучал глухой и хриплый голос:

— Сынок! Подойди ко мне!

Эмили вздрогнула, а мальчик недоуменно уставился на отца, чей голос еще никогда не был таким мягким, ласковым. Он будто бы принадлежал кому-то другому, словно звучал из спрятанного где-то поблизости репродуктора, который запускался, стоило умирающему отцу пошевелить губами. Мальчик шагнул к кровати и присел к

отцу. Иван погладил сына по голове. Но где были эти заботливые отцовские руки вчера, месяц, год назад и все прошедшие пятнадцать лет его жизни? По лицу мальчика бесшумно потекли крупные слезинки, обгоняя друг друга.

— Ну же, не плачь, сынок! Я ведь не был тебе хорошим отцом! Ну ничего, зато теперь у тебя есть деньги. Будете с мамой хорошо одеваться.

Горькая слеза, упавшая на лицо Ивана, обожгла его тяжелым воспоминанием. Он не раз видел эти слезы, бегущие из самой глубины детской души, когда кричал мальчишке: «Ты не мой ребенок!», ругал или бил его. По лицу Ивана заструились тонкие ручейки, пробирающиеся по неглубоким морщинам. Сын никогда не видел ничего подобного, и в его голове мелькнула мысль: «Неужели этот жестокий человек с каменным сердцем и чугунными кулаками способен так растрогаться?»

— Я должен признаться тебе,— продолжал отец все тем же хриплым и неестественным голосом.— Я запрещал тебе ходить на бокс, потому что боялся, что когда стану старым и слабым, ты станешь отвечать мне. Но теперь ты сам можешь оплачивать свои занятия, если захочешь. Теперь, когда меня не будет, поверь, найдется много желающих испортить тебе жизнь. Учись отвечать. Ах, как же все не вовремя! А ведь я так хотел тебя взять с собой в отпуск на море! И остался всего какой-то месяц! Ну ничего, теперь с матерью поедете.

Мальчик крепко обнял отца и громко зарыдал.

Тишину разорвал резкий звук дверного звонка. Эмили, как испуганная птица, сорвалась с места и бросилась открывать. В комнату тяжелым, но уверенным шагом вошел врач с чемоданчиком инструментов. За ним, как паж при короле, семенила медсестра. Привычным движением она проверила пульс, пока врач так же привычно осматривал белки глаз умирающего, разлепляя толстыми пальцами опухшие веки. Затем он осмотрел горло и отправил медсестру на кухню ставить стерилизатор на плиту. Смешав прозрачные растворы из разных ампул, больному сделали укол и протерли его след ватным тампоном, отдающим камфарой.

...Золотые лучи рассветного солнца настойчиво рвались в просветы между тяжелыми пыльными гардинами, извещая о наступлении утра. Теплый июньский день наполнялся привычной городской духотой. Только под утро успокоившиеся после ночных бдений у постели больного мать и сын крепко уснули в предрассветной тишине. Чудом спасенный от смерти умелыми руками доктора Иван медленно открыл глаза, зевнул и сел на кровати. Он хмуро посмотрел на спящую семью. Потом встал, осмотрелся вокруг и по привычке сделал утреннюю зарядку. Подошел к столу, на котором лежали банковские карты, подписанные им доверенность и записка, в которой он дал согласие на брак. Как ни в чем не бывало, он взял все бумаги и порвал на клочки. Банковские карты убрал на прежнее место. А вот ключи спрятал в другом месте. «Ишь, чего они захотели! Обойдетесь! Не про вашу честь!» Он быстро умылся, почистил зубы, надел полицейскую форму и темные солнечные очки, поспешно вышел и громко захлопнул за собой дверь. С улицы донесся визг собаки, которую Иван ударил ногой со всего размаха. Шум мотора Харлей-Дэвидсона нарушил утреннюю тишину.



**Владимир Пронский**  
(г. Москва)



## ТЕПЛЫЙ ДОЖДЬ ПРЕДЗИМЬЯ

*Родился в городе Пронске Рязанской области в 1949 году. В начальных классах учился в г. Алексине, откуда родом его отец. Работал токарем, водителем, корреспондентом, редактором.*

*Автор романов «Провинция слез», «Племя сирот», «Три круга любви», «Казачья Засека», «Стяжатели», «Герань в распахнутом окне», «Апельсиновая девочка», «Послушание во славу». Повестей «Мягкая зима», «Свобода прежде всего», «Воспоминания о розах», «Уходило спелое лето» и других, множества рассказов.*

*Публиковался в журналах «Наши современник», «Молодая гвардия», «Москва», «Подъем», «Север», «Странник» и во многих других, в коллективных сборниках, альманахах, в ближнем и дальнем зарубежье. Лауреат премии имени А. С. Пушкина, Международной литературной премии имени Андрея Платонова и нескольких литературных журналов. Секретарь Союза писателей России. Живет в Москве.*

Сергей Степанов собирался на премьеру собственной песни почти равнодушно, словно это была не первая его премьера. Предстоящее событие по-настоящему радовало месяц назад, пока он не знал, где будут исполнять песню. Оказалось: где-то за городом! А он-то мечтал о сверкающем концертном зале, многочисленной публике. Мечтал взять на концерт семью, пригласить знакомых... Еще более огорчился, когда композитор Владимир Балакин, написавший к его словам музыку и одновременно являвшийся дирижером клубного хора, стеснительно недоговаривая, попытался объяснить по телефону, что, мол, предстоит не обычный концерт, а благотворительный, в интернате для больных нервными заболеваниями. Да-а... Хороший подарок. Как только не называют в народе подобные интернаты, но Степанову ничего не оставалось, как согласиться из-за отсутствия выбора.

Вообще-то, Сергею Викторовичу надо бы радоваться, что все так удачно сложилось. Всего лишь два месяца назад его стихотворение о родном городе случайно попало к незнакомому композитору, неожиданно написавшему музыку. Когда диск с записью песни оказался у Степанова, он сперва радостно удивился, но, прослушав черновое исполнение, хотя и приятное для слуха, ужаснулся от несовершенства собственного текста. Эта незаконченность показалась ему — прозаику, автору нескольких романов и многих рассказов, привыкшему доводить произведения до профессионального уровня, непередаваемо обидной. Что это за песня, сложенная из трех куплетов, два из которых повторялись?! Надо срочно дорабатывать!

Никогда, наверное, он не трудился с таким неистовством, прибавив к тексту три куплета, наполнив его законченным сюжетом, выверив стилистически, взглянув на него с исторической глубины, многократно проверив стихотворный размер. Эти двое суток показались тяжелыми, но счастливыми. Много вспомнилось: и родители, и любимый город, и вид, открывающийся с городского холма, красоту которого он

стал понимать только с возрастом. И почему-то постоянно вспоминалась соседская девочка Таня, с которой дружил в начальных классах. Это потом он узнал, что Таня была неизлечимо больна, поэтому училась в специальной школе соседнего города. Родители привозили Таню лишь на каникулы, и он, маленький тогда Сережка, все дни проводил с белокурой, такой хорошенькой и тихой девочкой, подолгу пристально смотревшей на него не моргавшими голубыми глазами, хотя родителей это часто сердило, и они придумывали всякие уловки, чтобы их разлучить. Он тогда не понимал, зачем они это делают, если ему очень хорошо с ней. Ведь никто так не умел смотреть, даже мама с папой,— только она, Таня! Его даже не отпугивали насмешки: «Не дружи с ней! Ребята будут дразнить женихом и невестой!» Их, действительно, дразнили, а он не обижался. Таня — тем более. Да и чего обижаться, если им так славно быть вместе. Они даже пели о всеобщем счастье на Земле. Запевала обычно Таня: «Будет людям счастье, счастье на века...», но пела по-своему: «Будэт людем счастье, счастье на века...» — и Сережке казалось, что она нарочно неправильно поет, перед каждым словом делая паузу. Ее медлительность походила на игру и не мешала петь вместе; он легко приспособился к ее забавной манере. Эту песню в те годы часто исполняли по радио. После первых строк о всеобщем счастье в ней мощно звучали слова о революции, о силе советской власти — красивая песня, что и говорить. Но они тогда всех тех красивых слов не понимали. Им было достаточно самых первых, понятных — о бесконечном счастье, обещанном в скором времени. Им тогда казалось, что по радио поют о них самих, о том, что именно их ждет то самое неизбывное счастье, которое с годами только будет усиливаться.

Но неожиданно оно оборвалось.

Сережка в ту пору привык, что Таня появлялась на время каникул, ждал ее приезда. Появилась она и после окончания второго класса, но, погостив дома несколько дней, вдруг сказала ему по секрету, что завтра уезжает. И правда: на следующий день родители куда-то увезли ее на машине. Сережка едва успел проводить Танюшку и потом плакал весь день. Позже — ни родители Тани, ни свои — ничего по-настоящему не объясняли, а когда он уж слишком приставал с расспросами, то торопливо говорили, что она надолго уехала к бабушке в далекий южный город. Сережа хотел верить их словам, и почти верил, но все-таки какое-то, хотя и малое, сомнение оставалось, потому что говорили они сердито, почти зло. К тому же никогда прежде он не слышал о другой Таниной бабушке. У нее ведь была своя, привычная, жившая вместе с Таней. Ее он хорошо знал и даже любил, потому что она всегда угощала вкусными пирожками с вишнями или яблочным повидлом. Разве можно уезжать от такой? Поэтому и сомневался.

Почти год ходил, ничего не зная о Тани, даже начал забывать. Но следующей весной подрался из-за нее, когда играл с мальчишками в лапту, и кто-то из них сказал, что его невеста давно на кладбище, даже обещал показать ее могилку, а он тогда стал доказывать, что она уехала к бабушке и вот-вот приедет на летние каникулы... Тем вечером Сергей вернулся домой с разбитым носом, в изорванной рубашке и расплакался перед родителями. Тогда они рассказали ему всю правду, впервые говорили не сердито, а жалеючи. Услышав все, как есть, он плакал еще горше, и его долго не могли успокоить. Родители, конечно, хитрые, говорили, что он совсем взрослый, он — будущий мужчина, что все должен понимать, а не размазывать по щекам слезы, подобно плаксивой девчонке. Он соглашался, а в душе не мог смириться с такой ужасной несправедливостью.

Но все проходит, мало-помалу прошло и это горе. И, наверное, окончательно забылось бы. Но через год-другой, когда Сергей учился в четвертом классе, его не приняли в пионеры. Причина одна: отказался петь в классном хоре на смотре художественной самодеятельности! Учительница и члены родительского комитета пытались



узнать у него причину отказа и столь глупого упрямства, но он упорно молчал и не хотел ничего объяснять. Да и как скажешь о том, что будь какая-нибудь другая песня, он легко бы ее спел, но песня, которую 4-а класс готовил для смотра, начиналась словами: «Будет людям счастье...» Когда он начал петь на первой репетиции, то сразу вспоминалась Танюшка, и глаза разбухли от слез. Он убежал из актового зала, чтобы никто не увидел его слабости. Эту историю в школе запомнили, и позже, за отказ участвовать в самодеятельности, Степанов остался без пионерского галстука; да и с комсомолом потом было не все гладко.

Если смотреть на тогдашние события сегодняшними глазами, то они покажутся мелкими, не заслуживающими внимания, даже наивными. Но они были, и поэтому остались в душе навсегда, правда, спрятались так далеко, что почти не вспоминались или вспоминались без тогдашнего драматизма. Это теперь Сергей Викторович мог вспоминать спокойно, с легкой даже иронией: что было, то было — у кого в детстве не происходило чего-то похожего. Давние события, случившиеся полвека назад, и, конечно же, приглушенные временем, — даже самые яркие и запоминающиеся поначалу, — теперь лишь легким ветром радости или печали иногда возвращались в нынешнюю жизнь.

С такими волнующими мыслями ехал Степанов в подмосковный интернат на премьеру песни, сочиняя которую, чаще обычного вспоминал свой районный город, детство и все, что связывало тогда с ним и не отпускало в течение всей жизни. Может, и стихи-то сложились именно поэтому: из любви к детству, ко всем людям, жившим тогда и живущим теперь.

Хористы встретились в метро на «Пражской», потом разместились в заказном автобусе. Ехать недалеко. Если не московские пробки, домчались бы за полчаса. Да, собственно, никто не спешил, дорога знакомая: хористы ехали в этот женский интернат с шефским концертом не впервые. У некоторых из них даже имелись знакомые среди тамошних постоянных обитателей.

И вот автобус в поселке и остановился у ворот, увитых зловещей спиралью Бруно. Подобные стальные сверкающие завитушки с режущими гранями, на вид красивыми, понятно, плохое украшение для чего бы то ни было. Они и здесь навевали не самые лучезарные мысли. Правда, из-за ограды виднелась часовня, и вид ее радостно уравновешивал первое впечатление, неожиданно сковавшее Степанова.

В интернате их ждали. Рядом с руководством интерната и заботливым отцом Дмитрием, духовно окормлявшим здешних прихожан и организовавшим личным радением благотворительную поездку, можно было заметить невольных жителей сего места, гроздьями выглядывавших из окон и дверей, хотя вокруг разлилась сырая ноябрьская стынь. Степанов вышел из теплого автобуса в числе последних и следом за хористами ступил за распахнутые двери. Он никогда ранее не бывал в подобных заведениях, а тут сразу попал в другой мир, который мог только представлять в воображении. Но оказалось, что в этом мире внешне ничего нет необычного, особенно, если смотреть вдоль длинного коридора, похожего на больничный, по которому сновали нянечки в белых халатах и вольготно прогуливались жители интерната в цветастых халатах, и не только в них. Здесь и запах был, как в больницах, — сложный запах лекарств, хлорки и то ли лука, то ли чеснока, который, видимо, использовали как народное средство от гриппа. Правда, жители вели себя не как в обычных больницах, а пытались привлечь на себя внимание. Все дружно улыбались, наперебой здоровались, широко раскрытыми глазами пристально рассматривали гостей, отчего Сергей Викторович сразу вспомнил Таню, будто вернувшуюся из детства. Сам же он остерегался смотреть в глаза, словно боялся увидеть в них что-то запретное, пугающее, — такое, что вслед за взглядом может переселиться в его душу; лишь с Таней он когда-то мог беззаботно переглядываться. Теперь же впал в состояние легкого переполоха, хотя суетой, хождением туда-сюда, пытался вести себя так же, как и приехавшие гости.

Для женской части хора выделили комнату с пугающим названием «Изолятор», в которую хористки вошли в повседневной одежде, а вышли в сценических платьях и кокошниках — артистками. Мужчинам для переодевания достался кабинет врача. Вся эта привычная для них суета, короткая репетиция, вроде бы ничего не значили, но были важны для понимания окружающих людей, вхождения в образ. Своей подготовкой, негромкими загадочными голосами они обращали на себя внимание жильцов и разжигали их любопытство, словно пришельцы из иного мира.

Незаметно вглядываясь в окружающие наивные лица, Сергей Викторович вдруг понял, что они совсем не отталкивающие, а именно наивные, каждое по-своему несчастное, но одновременно и счастливое от беспокойной внутренней душевной жизни, известной только им самим. Можно лишь представить, что значит для этих людей приезд артистов, захлестнувший впечатлениями и эмоциями, если свобода жителей интерната ограничена высоким забором и спиралью Бруно. Ведь они все понимают. Иначе не радовались бы, не заглядывали в глаза, не ласкались бы бездомными сиротинками. И возраст для них не имел разницы. Все они прилежно, с одинаковым энтузиазмом старались привлечь внимание, запомниться. Некоторые подходили к хористам, как к старым знакомым, и, держась за руку, долго не отпускали их.

В какой-то момент Степанов был ошарашен взглядом белокурой девушки, будто случайно скользнувшей глазами — совсем не так, как смотрели другие. И едва он задержал на ней взгляд, как она широко раскрыла глаза, и в их чистой синеве он вдруг увидел тревожно-знакомый оттенок. Сразу даже не понял, что это были глаза Тани; девушка и внешне была похожа. И хотя прошло полвека, но те бесконечно давние взгляды вдруг вспомнились Степанову так свежо и радостно, словно перед ним мелькала не эта девушка, по виду, будто случайно оказавшаяся здесь, а непостижимым образом вернулась его детская привязанность. За минувшие десятилетия он подзабыл ее образ, а теперь вдруг обрел заново, и ее лицом стало лицо этой синеглазкой, нашедшей среди хористок свою знакомую Аллу, называвшую ее «дочкой».

— Как же зовут вашу «дочку»? — подыгрывая, будто бы серьезно спросил Степанов у Аллы, цветущей от этой встречи, почему-то надеясь — а вдруг?! — услышать имя «Таня».

— Это — Лада, моя дочурка! Правда, Ладушка?! — обняла девушку Алла, а Степанов подумал, что у них даже имена созвучные.

— Моя мама Алла... — негромко, неимоверно растягивая слова (точь-в-точь, как Таня!), произнесла девушка и туже прижалась к Алле, как к настоящей маме, словно боялась ее потерять. Они действительно очень походили одна на другую: обе светловолосые, обе пугливые и постоянно улыбающиеся виноватыми улыбками.

Степанов хотя и ошибся в имени Аллиной «дочки», но, глядя, как Лада доверилась покровительнице, подумал: «Какая разница! Не в имени дело, а в отношениях!» Взаимное тяготение незнакомых, в общем-то, людей повлияло на Сергея Викторовича по-особенному, сразу разволновало, окончательно заставило иначе смотреть вокруг.

Концерт намечался в столовой, вскоре торопливо наполнившейся шумными зрителями, и начался с поздравления отца Димитрия и исполнения тропаря празднику иконы Казанской Божией Матери. Степанов смотрел на зрителей, многие из которых осеняли себя крестным знаменем, исподволь изучая особенно запоминающихся. Но какими бы они ни казались своеобразными, всякий раз его взгляд останавливался на лице Лады — на вид самом обычном, но, глядя на которое, ему раз за разом вспоминалась Таня. Казалось, Лада вот-вот широко раскроет синие глаза и, трудно выговаривая каждое слово, запоем с большими паузами: «Будет людям счастье, счастье на века...»

После православного песнопения батюшка передал слово Алле — ведущей концерта, и она объявила название первой песни. Кто-то в зале сразу продублировал, выкрикнув: «Я лечу над Россией!» Пока зрители оживленно и крикливо обсуждали

название, терпеливый баянист и хористы, предупрежденные Балакиным о сдержанности и тактичности, держали паузу, и только когда зал мало-помалу успокоился, начали песню по сигналу дирижера. Когда она закончилась — слушатели не жалели ладоней, оглушили аплодисментами.

Песня Сергея Викторовича прозвучала второй по счету. Алла объявила о премьере, сообщила, что автором музыки является композитор Владимир Балакин — элегантный, подвижный дирижер хора, а текста — писатель Сергей Степанов, находящийся в зале. Зрители принялись оглядываться, но, кажется, никто не признал в высоком человеке в легком сером свитере одного из авторов. Слова собственной песни, в исполнении хора, показались ему такими необычными и радостно-пугающими, восторженными, что не оставляли места никаким иным мыслям. Это чувство было схоже с давним, но незабываемым, отчетливо сохранившимся в душе с юных времен, когда он стал автором первой публикации в «районке». Помнится, от восторга, казалось, летал над землей, парил, и даже не от самой заметки, а от вида собственной фамилии, напечатанной типографским шрифтом! Потом было множество публикаций, и впечатления от них мало-помалу сделались привычными, такими, какими бывают от обычной работы. И вот, новый всплеск эмоций и радости, будто он всю жизнь копил в душе любовь и тепло к родному городу, а сейчас это все вспомнилось и предстало перед глазами: его улочки, вид на речную излучину и дальние поля, открывающийся с крутого холма, на котором в средние века стояла крепость. Все-все вспомнилось, а ярче всего почему-то — Таня. И такими воспоминания получились подробными и ясными, что он чуть ли не прослезился и совершенно по-особенному посмотрел на застывшие лица внимательных слушателей. Ему даже показалось, что в эти минуты они все побывали на его родине и радовались вместе с ним. Когда же исполнение песни закончилось новыми аплодисментами, Алла представила Степанова, он вышел на поклон, и все по-иному посмотрели на него, словно до этого он выдавал себя за кого-то другого. Кто-то сказал, имея в виду его высокий рост:

— Мы его сразу заметили!

Все заулыбались, Сергей Викторович заулыбался вместе со всеми, вдруг подумав, что от волнения, все-таки пришедшего к нему, почти не запомнил первого прилюдного исполнения собственной песни! Вот те раз! Ждал-ждал этого момента и... проморгал. И все-таки теперь не это являлось главным. Поэтому и огорчился недолго. Он вдруг понял, что после незапланированного оживления стал своим в этом доме, и все здешние люди своими. И если ранее он отводил глаза, когда встречался с ними взглядом, то теперь улыбался в ответ. Сделав фотографии хора и солистов, он присел среди зрителей и почувствовал боковым зрением, что они рассматривают его, запоминая, а одна из женщин, скукоженная от возраста и напряженная от волнения, даже дотронулась до локтя и попросила:

— Разрешите пожать вам руку!

Женщина осторожно подала узкую ладонь, рука показалась Степанову холодной, но, встретившись с женщиной взглядом, он все-таки увидел тепло, шедшее из ее темных и уставших глаз, пусть и слабое.

А концерт шел своим чередом. Песни сменяли одна другую, зрители без устали хлопали в ладоши, иногда комментируя либо название песни, либо слова ведущей. Но, странное дело, эти реплики не мешали выступлению, воспринимались всеми как само собой разумеющееся дополнение и — вот чудо! — усиливали восприятие. Дай слушателям волю, они бы не жалели ладоней до утра.

За чудесное исполнение, за внимание к обитателям интерната отец Димитрий преподнес хору образ Царицы Небесной «Умиление» и пожелал, чтобы Матерь Божия была и впредь руководительницей и спасительницей всех верующих. В заключение концерта сделали общую киносъемку и фотографии на память, раздали батюшкины подарки.

Лада, в которой Степанов увидел Таню из детства, не отходила от Аллы, освободившейся от обязанности ведущей, а когда зрители разошлись, обе вместе вернулись в столовую, где хористов угостили чаем с бутербродами и пирожками, и сели за стол рядом. Сергей Викторович взял пирожок и вспомнил Танину бабушку, а сама Таня, казалось, сидела напротив. По взгляду Лады, ее поведению было видно, что она очень хочет, чтобы Алла забрала ее с собой, но не знает, как сообщить об этом, и Алла, видимо, понимала ее желание, но не отваживалась сказать Ладе, что это невозможно. Да и как объяснить наивному человеку то, о чем даже намекать никто из гостей не в праве, чтобы не растревожить его чувств и чувств иных жителей этого дома, невольно не навредить им, заранее зная, что обычные слова здесь бессильны. Степанов видел, как отзывчивая Алла, видимо, скрепя сердце и чувства от невозможности помочь чем-то конкретным, мило улыбалась своей подруге, обещала, что совсем скоро они вновь приедут, и тогда встретятся, поговорят. Лада слушала, слегка кивала и смотрела широко раскрытыми глазами, пытаясь отгадать: правду ей говорит Алла или лукавит. Ждать ее или нет?! Но как можно что-то по-настоящему понять среди суеты, разговоров, мимолетных взглядов? Как завладеть чьим-то вниманием впопыхах?! Трудно это сделать, очень трудно. Даже простым смертным.

Благословленные отцом Димитрием, хористы выходили к автобусу, Степанов шел рядом, и показались все они в эти минуты давно знакомыми, необыкновенно близкими, словно прожил с ними долгую и добрую жизнь. Вместе с гостями, как растревоженные пчелы из улья, вытекали из здания хозяева. Они выскочили проводить артистов в свитерах, кофтах, совершенно забыв о дожде, наверное, от волнения казавшимся им теплым и ласковым, словно не сырой и студеной ноябрь разлился вокруг, а цвел приветливый май, всюду распустились цветы, и птицы небесные неутомно заливались в нежной зелени, будто в раю. Женщины окружили автобус и, не обращая внимания на снеговую тучу, предвестницу близкого предзимья, неслышно крадущуюся от свинцово-синей Москвы-реки, настойчиво просили не забывать их, приезжать еще и еще, обязательно приезжать! И что им эта черная туча с белесыми подпалинами, грозившая, как сказала бы Танина бабушка, ледяным чичером, когда уезжали любимые люди, мелькнувшие будто во сне. И никто из женщин не ведал, когда этот сон повторится, и повторится ли. Поэтому и не жалели эмоций, потому что не умели их жалеть: они жили сегодняшним днем — радостным и прекрасным.

Лишь Ладушка застенчиво стояла в сторонке в черных брючках и домашних шлепанцах, скрестив руки на белом растянутом свитерочке, и что-то кричала «маме Алле». Кажется, плакала, или это лишь показалось Сергею Викторовичу из-за мокрых стекол, хотя он и сам был готов разрыдаться. И опять, глядя на Ладу, вспомнил Танюшку, вспомнил последнее расставание с ней, когда ее отец-фотограф навсегда увозил дочку на собственной «Победе». Тогдашний Сережка верил во все, что ему говорили родители: и свои, и Танины. До следующей весны верил, пока однажды не увязался с мальчишками играть в лапту. Лишь только тогда узнал, что Таню увезли не к другой бабушке, которой у нее к тому времени не было, а в областной закрытый интернат. Там ее здоровье окончательно расстроилось, и вернулась она в город в первую тихую осень, чтобы навсегда упокоиться под золотистой сенью кладбищенских лип.

Никто, конечно, не знал, о чем думал в эти минуты Степанов. У всех были свои мысли и чувства. Сам же он вдруг понял, что не зря Господь благословил премьеру песни именно на Казанскую, именно в этом месте. Ведь в песне говорилось о любви к Родине, призывном колокольном звоне и молитве, ведущей людей за собой. Он очень надеялся, что и Таня услышала в праздничный день эти благословенные слова, радушно ниспосланные с горней высоты.



**Ефим Гаммер**  
(г. Иерусалим, Израиль)



*Наш постоянный автор*

## ПО ОБЕ СТОРОНЫ ОТ ПУЛИ

### 1

Крутится, крутится, крутится голубая акварель...  
Жизнь остановилась за пять минут до двенадцати...  
На разбитых коленках судьбы — гнойники...  
На закостенелом лице — пулевые пробоины глаз...



Хочется жить, хотя жить уже невозможно. Будущее размыто, прошлое похоронено. Настоящее — пять минут до двенадцати, пулевые пробоины глаз, круговерть голубой акварели.

Миша! Мишаня! Если бы ты знал, как тяжело жить в настоящем, когда будущее размыто, прошлое похоронено, и нет ничего в порочной связи времен, что могло бы окропить память живой водой.

Передо мной чашка кофе, а в ней, в ее глазурированном болоте, отражение мертвых моих чувств.

Крутится, крутится, крутится голубая акварель. Твоя акварель, Миша. Твой автопортрет с пулевой пробойной глаз, списанный с зеркала — этого зеркала, перед которым сейчас сижу я.

Твои голубые тона — холодны. Есть в них небо, но нет в них жизни. Мерзко тебе, Мишаня, там, на фоне замшелых сопок. Мерзнет в руке автомат, зябнет на заиндевелем пальце перстень. Помнишь, ты мне говорил: на перстне миниатюра твоей жены. Но нет у меня увеличительного стекла. Наверное, ты изобразил свою Таню в самых радостных красках. Но что может дать ей сейчас свечение твоей радости? Даже глаза, и те, должно быть, выцвели у нее, как услышала от меня по телефону, что ты погиб.

Зачем ты погиб, Миша? Не проще ли было упредить выстрелом смерть? Почему я должен был стрелять за тебя? Чтобы спасти уже свою жизнь?

## 2

Хорошее дело — патруль! Ночь. Звездная сыпь. И предошущение обязательного рассвета.

Но где-то у горизонта крадется скорпионом полночь.

Человек знает все. Только не знает своей пули. Только не знает, кем и когда взведен затвор.

Вот поднимается ствол винтовки. Мушка перебегает с одного сердца на другое. И ей все равно. Как патрону, послушному пружине магазина. Как пальцу на спусковом крючке.

Две живые мишени. Из них на прицеле та, что повыше ростом — легче попасть. А мишени, живые мишени, перебрасываются живыми словами, непонятными еще мертвой пуле, еще мертвому затвору, еще мертвому бойку.

Впрочем, что там непонятного?

Ты говорил:

— Да-да, в Доме художников, в Иерусалиме! Там и откроется выставка моих миниатюр. Обещали через две недели. Сейчас отпечатаем пригласительные билеты и...

Мишаня, я стрелял, прикрываясь твоим телом. А, может быть, даже Таней — именем, которое кровавыми пузырьками вскипало на твоём рту и, обратясь в пар, облачком, защитным облачком стлалось над моим автоматом.

Не знаю, кто спас меня — ты ли своим беспомощным телом, впитывающим предназначенную мне смерть, или эта туманная обволочь, рожденная именем любимой тобой женщины.

Я вроде бы жив...

Жив еще...

Потом поеду в Иерусалим. Хоронить тебя там, где должна была состояться твоя первая персональная выставка. И вновь мне быть мертвым. Что я скажу твоей Тане?

«Мишаня прикрыл меня своей грудью»?

«Ты спасла меня своим именем»?

Что я скажу?

Разве что — «он просил передать...»

И отдам ей твою последнюю акварель.

Отдам перстень.

«На нем твой портрет, Таня. Махонький, как слеза...»

## 3

Вьедливый, омывающий сердце туман пасется над Самарией. Роняет в дрожи росу на траву, гасит звуки. Он вечен, как и эти мохнатые сопки, как шербатые, солнцем побитые камни, как одинокий верблюд, стискивающий меж горбов древнего бедуина.

Старцу за тысячу лет, как и снулой мухе на его носу. Они тихо дремлют, не беспокоя друг друга и вечность, которая сонно ложится под ноги двугорбого покорителя пустыни.

Мне бы тоже так слепо дремать. Но я за колючей проволокой. За мной военная база, напичканная какими-то, под охваты высшей тайны секретами. И мне рвать предрассветную тишь:

— Эй, стой! Пароль?!

Но какой пароль у вечности?

Жизнь? Смерть?

И способна ли человеческая, пусть даже крытая изнутри нержавеющей железом глотка перекричатьzybучий туман Самарии?

Кочевник времен — верблюд — отфыркивается в глубине сопок. Мне чудится: он губасто выкатывает слюну и — харк! — с презрением на окрик, на досадный звуковой барьер, перекрывающий незыблемые его горизонты. И мерно, не меняя размеренной поступи, откатывается в свою вечность — мимо и мимо меня, мимо и мимо охраняемых мною ворот, спиралей проволоки с возвращенными за нею секретами, нужными ему, как мне его излюбленные колючки от местного саксаула.

Мы поделили колючку. Ему — его. Мне — моя.

Мои псы нервно переругиваются. Оскорбленные верблюжьей невозмутимостью, гавкают — гавкают. Гребут вдоль цепи, чтобы уже не голосом, чтобы уже скрежетом ржавого металла дойти до бедуина, разорвать прилипчивую его дремоту, смахнуть с его носа муху, такую вроде бы пугливую у нас на базе.

#### 4

Пес — рыжий, с вислыми ушами дворняжки — кладет мне на плечо свои лапы. Дрожь его лап отзывается дрожью на моем автомате американского производства М-16.

Туман. Поганная сырость. Знобит. И солнце огромным глазом слезится на окраине неба. И ветер, промозглый живчик, колючей проволокой прорезается к нему сквозь белесую стынь.

Подана машина.

Облезлый джип с водителем — восточным человеком Рами, полным каких-то въедливых соков, как тронутый матовой пылью виноград.

Вчера на стрельбище, когда ради баловства бьют по консервным банкам, он чуть было не угробил нашего лейтенанта Ури. У парня отказал автомат, и он повернул самострельный ствол «Узи» к командиру базы:

— Дура! Не стреляет!

Ури инстинктивно, рывком отвел от груди погибельное оружие, и распоротое выстрелами небо обронило на землю двух голубей.

Поди догадайся теперь, не откажет ли в убойный момент у водителя и старенький, маразматически кряхтящий джип?

#### 5

О чем говорят резервисты-попутчики, не связанные ни «политикой», ни «биржевым крахом», ни премьерой театра «Хан»? Они говорят о «бабах», неких двуногих существах, смазливых, похотливых, жадных до мужской ласки, как клоп до человеческой крови.

Мужчины — эти бывшие мальчики, постигшие таинство первого поцелуя в темном подъезде с разбитой лампочкой, будут говорить о «бабах» даже у Бога за пазухой. А уж если они не у Бога за пазухой, да к тому же в солдатской форме, то им — о «бабах» — сам Бог велел.

У каждого мужчины (в израильской армии) должно быть — про запас, на случай дальней дороги — «Дон-Жуанское прошлое». Рами был человек восточный, он не слышал о Дон Жуане даже после рождения второго ребенка. Но о «бабах» он все распрекрасно знал. Правда, видел в них не «баб», а соседских девчонок, которых до пятнадцати лет надо было манить «арктиком» — мороженое на палочке, а после пальчиком, обмотанным для приличия шекелевой ассигнацией.

И это его «видение» представляло мне какой-то плоский мир, где ожидание уступало мановению пальца, а от эмоционального взрыва не оставалось в закоулках памяти ничего — даже мелких чувств.

И сейчас, сколько Рами не пылил мне мозги своими блуждающими сновидениями, не мог — да и откуда? — выхватить ни одного, равного моему.

Где он найдет эту просветленность глаз с преждевременной, ухватившей все слезой?

Эту закостенелость руки с дымящейся чашкой кофе?

Этот скульптурно-мертвый поворот головы?

Эту скользкую тишину, по которой катишься, катишься в непоправимость?

## 6

— Слушай, друг-маэстро,— сказал мне Рами, когда мы въехали в иерусалимский район Катамон, следом за которым начиналось мое Гило, где в незапамятные времена будущий царь Давид, а тогда вифлиемский пастушок пас своих коз.— Сделай одолжение, дай мне сотенку шекелей. Верну — не забуду.

Я посмотрел на него: в глазах кобелины «чумливость», на лице блудливая улыбка.

Рами надавил на клаксон и, не сомневаясь в моей кредитоспособности, протянул руку за платежеспособной бумаженцией.

— Вон там ждут,— поспешно добавил, видя, как из примеченного мною окошка выглянула рожица с барашковыми завитками волос и приветливо кивнула ему.— Я мигом. Должок верну и назад.

Ждал я шофера недолго.

— Ну, друг-маэстро?

— Что?

— Ты готов?

А в глазах у него уже никакой кобелиной «чумливости», тоска собачья в его глазах.

— Я готов.

— Курс на Гило,— выдохнул Рами, и затих, ожидая от меня каких-то знаковых слов.

Но каких слов? Что ему сказать? Мишани больше нет. И говорить мне об этом не с ним, а с Таней.

— Поехали! — сказал я.

Солнце огромным глазом светится на окраине неба. В той точке, где оно касается земли, ждет меня Таня. Я расскажу, как погиб ее муж, передам акварель и перстень с миниатюрой. И мне станет легче...

Легче ли мне станет? Не знаю...

Страшный неживой голос Тани с резким телефонно-русским акцентом все еще давит меня.

## ИЗ ЛИВАНА С ОКАЗИЕЙ

Осколок снаряда от Эр-Пи-Джи, советского производства, торчит в железном боку автобуса. Он прошел слева направо — через оконное стекло — в спину. И вышел из груди, чтобы облить кровью его автомат, лежащий на коленях.

Моисей впал в кому, не успев подумать о смерти. Не успев даже в мыслях передать привет матери, жене, дочке. Впал в кому и, отвергнув боли и тяжбы минувшей жизни, парил над Добром и Злом — теми понятиями, которыми из века в век кормится человечество. Пока, в разрыве времен, не приступает к пожиранию единоутробных братьев.

Моисей умер...

Его автомат М-16 покоился на кожаном сидении автобуса — так и не высадил в отместку ни одной пули.



Группа иностранных корреспондентов — эти Хоу, Дитрихи, Смиты, коих он вынужден был сопровождать от Цора до Бейрута, услышав скрежет железа, отвели глаза от запредельной синевы ливанского неба, и теперь с ужасом смотрели на него, военного корреспондента радио «Голос Израиля».



Его мама Рива, лежащая на операционном столе в ашкелонской городской больнице, осознала смерть сына

шестым чувством и не позволила себе мирно скончаться под ножом хирурга.

Кому, как не ей, хоронить Моисея на военном кладбище?

Из тысячи болей выбирают одну.

Кровь не стынет в поджилках, когда ноет сердце.

Кого убивают первым, если пришло время войны?

Первым убивают Ее сына.

Ривин сын Моисей, сын Моисея и внук Моисея, нареченного в честь Моисея, вывешего евреев из египетского плена, погиб от шального осколка на выезде из Бейрута, так и не успев поспеть в Ашкелон к началу операции.

Рива, мать Моисея и дочь Моисея, нареченного в честь Моисея, вывешего евреев из египетского плена, из тысячи болей выбрала одну — смерть сына.

Его смерть она ощутила внезапно, на операционном столе, за мгновение до того, как уснула под наркозом.

Рива очнулась в палате от приступов тошноты. Тело ее содрогалось в спазмах. Старая женщина чувствовала ноющие покалывания в груди, терзаемой куском стали, поразившей ее сына.

Хаим, племянник Ривы, обретший это имя, означающее на иврите — жизнь, в честь дарованной ему жизни в гетто, чуть ли не силком тащил к ее кровати дежурную медсестру. А та негодуя дергала острыми, как вешалка, плечами и отбивалась скороговоркой:

— Все с ней будет хорошо! А рвота... Без рвоты не отойдешь от наркоза.

— Сделайте что-нибудь! — кричал, не слыша девушки, Хаим.

И дежурная медсестра сделала «что-то», лишь бы «что-нибудь» сделать: сменила на Риве белье.

— Хватит орать! — сказала она Хаиму, сделав «что-то». И вышла в коридор — плечики вразлет и покачивается, будто худоба-манекенщица от сквозняка.

— Ей плохо! — вдогонку плечикам крикнул Хаим.

— А кому хорошо? — отозвалось из глубины коридора.

Рива булькала горлом, подбирая руки к груди.

— Оставь эту девчонку, Хаим. Она права: кому сейчас хорошо? Идет война, а она... они бастуют. Объявили голодовку на нашу голову. Это надо же, бастуют...

— Но ведь она... Она дежурная!

— Помолчи, Хаим. Мой язык к смерти прилип. Трудно говорить. Закажи памятник.

— Рива, что с тобой? Да ты! Тебе до ста двадцати, и без всякой ржавчины!

— Памятник, Хаим! И беги в родильное отделение. Я чувствую... Хая... Я чувствую... там... с внуком моим... с Моисейчиком... плохо. Не разродится она.

— Рива, да что с тобой впрямь? Каким Моисейчиком? Мы же договорились! Если мальчик, назовем его Давидиком, по моему деду.

— Я знаю, что говорю, Хаим. Беги! Мне... мне...

Рива прикрыла ладонью рот. Но поздно. Ее вновь затрясло. Она выгнулась, так и не отвернувшись от племянника. Хаим выскочил из палаты, пугливым взором отметив, как сквозь ее пепельные пальцы бьют желтые струйки.

«Боже!» — прошептал в коридоре. Выхватил из брючного кармана, не вытаскивая пачки, сигарету. Попросил огонька у проходящего мимо солдата с «Узи» на плече.

— Откуда?

— Из Ливана.

Прикурив, спросил:

— А что у тебя?

— Сын! Сын у меня!

— Так скоро?

— Что? — не понял солдат.

— Да, нет! Я просто так...

Моисей был счастливый отец...

У него была дочка, шести лет. А сейчас, появился и сын.

В этот раз он очень хотел сына — с той же силой хотения, как в прошлый раз, когда очень хотел дочку.

Дочку назвали Басей, по имени сестры его матери, убитой гитлеровцами в концлагере. А сейчас ему нужен был сын, чтобы назвать его Давидом, по имени деда, расстрелянного заживо немецкими овчарками после неудачного побега к партизанам.

Но он уже знал: имя малышу теперь — Моисей, в честь него. Все согласно еврейской традиции.

Моисею не терпелось перенестись к своему младенцу, пускающему изо рта первые пузырьки жизни. Но догадывался: за ним присматривает Хая... Язык не поворачивается произнести слово — «вдова».

Чего их беспокоить?

И он перенесся, раз выпала такая оказия, в Кирьят-Гат — за десять километров от Ашкелона. К милашке — дочушке Басеньке, за которой обязалась присматривать соседка Алия Израйлевна.

Алия Израйлевна смотрела телевизор и громко цокала языком, сопереживая происходящему.

На черно-белом экране просторного, как холодильник, ящика демонстрировали врачей ашкелонской городской больницы, учинивших забастовочные санкции с последующей голодовкой медицинского персонала.

Басеньке пора спать. Но она предпочитала другое занятие. В ванне, под теплым душем, отмывала от серой пыли походный «Репортер» Моисея, который обычно висел на его плече, когда он отправлялся в командировку.

Изнемогая, «маг» вел голосом ее папы какой-то путевой репортаж. Басенька, в ожидании своих слов, записанных некогда на пленку, била по клавишам, будто она за роялем.

Наконец дождалась.

— Я слон! Я слон! — раздалось из магнитофона.

Басенька радостно захохотала.

В коридоре, отгороженном ширмами от больных, тихо бастовали врачи. Они сгрудились у телевизора, слушали последние, касающиеся их голодовки известия и умиротворенно вздыхали.

Коридор, отгороженный ширмами, связывал хирургическое отделение с родильным.

Хаим рванулся было по нему, хотя и опасался: остановят!

Нет, его не остановили. И не потому, что в эти минуты стрекотали камеры телевизионщиков. Его не остановили потому, что белые халаты делали вид, будто ничего экстраординарного в лечебном заведении не происходит. Они видели лишь телевизор, а в нем себя — голодающих перед телеоператорами из разных стран мира. И старались не замечать Хаю, дорвавшуюся почти до самого телевизора с ребенком на руках, но так и не втиснувшуюся в кадр.

— Доктор! Доктор! — шептала она, протягивая ребенка врачу.— Смотрите! С ним все в порядке? Он не подает голоса!

— Минутку! — сказал врач.— Потерпите немного. С ним все будет в порядке. А у нас санкции.

Он повернулся на стуле, уставился в экран вызывного ящика, в лицо своего коллеги, профсоюзного беса, бесстрастно излагающего требования забастовочного комитета.

— Доктор! — вспыхнула Хая.

— Потерпите немного. Голос у него прорежется,— бесстрастно ответил врач.

Автомат Моисея лежал на коленях под его безвольными руками.

В далеком Бейруте.

Его тело, поникнув, подрагивало на мягком автобусном сидении.

В далеком Бейруте.

Но дух его метался по Ашкелонской больнице, от Хаи к врачу, от врача к маме Риве, от мамы Ривы к двоюродному брату Хаиму.

Хая бросилась к телефону-автомату.

Моисей подставил руки. Но так и не смог принять даже на мгновение младенца, чтобы ей было легче набирать на ускользающем от пальца диска заветные цифры. Его сына принял на руки Хаим.

— Алло! Алло! — скороговоркой произносила Хая.— Скорая помощь? Скорая, скорей, сюда! Адрес? Ах, да — адрес! Записывайте! Ашкелонская городская больница! Родильное отделение!

И тут младенец, будто отказываясь от медицинской помощи, самостоятельно подал голос. Пронзительный и сильный — голос человека, вернувшего к жизни. Почему «вернувшегося к жизни»? Потому что Моисею показалось, что это был его голос...

— Живи, малыш! — сказал он тихо, зная, что его никто уже не услышит.

...В Израиле стояло жаркое лето, рекордное по количеству родившихся израильтян.

Жаркое лето достопамятного 1982 года — время затяжной войны в Ливане и бессрочной забастовки врачей.



## Глеб Рубашкин

(г. Выкса, Нижегородская область)



## ТУМАНЫ

*Окончил финансовый факультет Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского, кандидат экономических наук, работает руководителем экономического подразделения на одном из предприятий Объединенной металлургической компании. Публиковался в журнале «Нижний Новгород».*

Золотистые волны накатывают, гладят и обнимают своими колосьями. Небо забыло про то, как выглядят облака. Больше всего хочется раскалившимся затылком почувствовать хотя бы малейшее движение воздуха.

До леса осталось совсем немного, когда они заметили его. Белесый, с длинными, как у женщины, почти бесцветными ресницами. Лицо усеяно крупными веснушками. Часто-часто моргает, разбрасывая капли выступивших слез.

— *Tote mich nicht! Ich bitte dich! Ich habe eine Familie — eine Frau und drei Kinder! Nicht schießen, nicht schießen, bitte!* — лопотал немец, судорожно протягивая смятую фотографию, на которой счастливо улыбались миловидная круглолицая женщина и три таких же миловидных девочки в одинаковых белых платьицах в мелкий горох.

— Про что он бормочет? — спросил Ковальчук.

— Про детей что-то, — отозвался, услышав что-то смутно знакомое еще со школьной еще скамьи, Селиванов.

— А-а-а, про детей. Вот и оставался бы с ними дома, с детьми. Пошли. Некогда нам здесь задерживаться. Рядовой Чельшев, фрица в расход!

— Как в расход?

— Что значит как?! Молча. Ты что — дефективный? Или тебя на срочной службе винтовкой не учили пользоваться? Выполняй приказ!

— Товарищ лейтенант, я не могу. Не могу вот так, безоружного.

— Ты что, Чельшев, под трибунал захотел?! Или ты хочешь подождать, когда они все сюда прибегут?! Может, ему еще пулемет вернуть?

— Я все понимаю. Рука не поднимается.

— Стреляй, мать твою! Ты на войне, а не с бабой на сеновале! Стреляй, я сказал!

Когда Чельш щелкнул затвором, немец, вложив все свои силы в один большой прыжок, вмиг оказался подле него и, ухватившись обеими руками за ствол, мокро и нечленораздельно завыл. Чельш резко ударил его правой ногою в грудь, отбросив метра на два от себя, и сразу, без промедления нажал на спуск.

Потом немец часто приходил к Чельшу по ночам. Оборачивал к нему свое рябое, выпачканное в грязи, масле и слезах лицо и визгливым, бабьим голосом начинал голосить. Его крик пронизывал Чельша как спица, насквозь, и выходил наружу вместе с холодным и липким потом, бесповоротно нарушая то сладкое, безмятежное спокойствие, которое дарит нам сон.

На войне с каждой новой смертью Чельш больше всего поражался тому, как он все это воспринимал. Так, будто кто-то пытался докричаться до него с берега, а он плыл под водой, едва улавливая отдаленную волну звуков и неразборчивые слова, и ему совсем не хотелось выныривать на поверхность.

Под Москвой он попал в окружение. Его руки тогда опустились в прямом смысле, из обеих запястий сочилась кровь, из ран выглядывали белые-белые кости. Единственным оружием, которое он мог использовать, были его крепкие, ровные зубы, справиться с которыми не смогли ни сырые окопы Смоленщины, ни гнилой Дальний Восток. Командиры обнаружили брешь в рядах немцев и предприняли попытку выйти из окружения. Чальш из последних сил переставлял ноги. Рядом с ним брел солдат, с трудом удерживая руками то, что так не хотел от себя отпустить, — свои кишки, которые предательски вываливались при ходьбе из огромной раны на животе.

Чельш никогда не пытался себе объяснить — что же это такое было? Какая сила уберегла его тогда, не дала пуле скользнуть чуть повыше руки, не позволила сдаться в плен и упасть под кусты в надежде на то, что кровь унесет из него все то, что так беспокоило — боль, страх и отчаянье? Что заставило земляка—танкиста, с которым он три дня назад поделился махоркой, оказаться рядом с ним и поднять на борт своей бронированной «ласточки»? Чельш просто глубже и глубже погружался под воду. Туда, где уже ничего не слышно и слышать не хочется.

\* \* \*

Ласковые предзакатные лучи разукрасили улицу мягкими цветами теплого летнего вечера. Чельш присел на лавочку у калитки и самозабвенно потягивал папироску. Едкий сизый дым и нежное августовское солнце умиротворяли и несли с собой ощущение спокойствия и гармонии. Это был своеобразный ритуал, некое священнодействие, тайный смысл которого был постижим лишь ему одному.

Чельш любил Тишину, ждал ее и наслаждался ею.

Однако в гармонии всегда находится место для тревоги, которая незаметно появляется, постепенно пускает корни и, в конце концов, полностью разрушает то, что до этого казалось таким незыблемым. Предвестником той самой тревоги стал гулкий протяжный стон, доносившийся издалека.

Несмотря на то, что звуки эти были привычны Чельшу, так как слышал он их практически каждый будний день, лицо его исказила еле заметная гримаса. «Опять Балда со своими туманами», — сорвались с его губ резкие, но едва слышные слова.

Призрак недавней идиллии злорадно растворялся в воздухе. С другого конца улицы раздавались дребезжащие протяжные звуки, очень похожие на рев раненого животного. Несмотря на, казалось бы, их несвязный характер, иногда человеческое ухо могло уловить отдельные сильно исковерканные слова, изредка выпадавшие из этой «стены шума». Самым узнаваемым из этих слов было — «па-а-а-ти-а-а-а-ны».

Чельш знал, что через несколько минут можно будет опознать и другие слова. Учитывая то, в который раз для него уже звучала эта «ария», он мог и не напрягать свой слух. Эту песню Чельш знал наизусть, хотя давно был готов отдать все на свете за то, чтобы ее никогда больше не слышать. Судя по всему, звучал только первый куплет, и надо было готовиться к худшему. Идти домой, в духоту, не хотелось, и Чельш решил в очередной раз испытать всю эту муку до конца. Правда, его решительность в этот раз была какой-то особенной. Он терпеливо ждал, уверенный в том, что Балда и сегодня не изменит свой привычный маршрут и примерно минут через десять окажется рядом.

Балда неспешно приближался к дому Чельша. Он с наслаждением покачивался из стороны в сторону и с удивительной для его состояния ловкостью избегал всех

препятствий, которые встречаются на сельских тропах — ям, камней и коровьих лепешек.

— Здорово, Балдин! — окрикнул издалека Балду Челыш.

— Здорово, Петр Иванович! Дай подымить, коль не жалко,— с дружелюбной готовностью откликнулся Балда, довольно быстро преодолевая расстояние до дома Челышевых.

— Да чего там! Держи, конечно. Садись — покурим. Чай устал? Где трудился-то сегодня?

— Сегодня баню в Медянке закончили для Кривокурихи. Баня знатная вышла, мне аж завидно стало, что у самого такой нет. Только нескладуха получилась — она денег от сына ждала, а он чего-то не прислал. Ну, вот и пришлось ей нам первачом проставляться. Когда расплатится теперь — шут ее знает! Андрюха Тулупов все кости ей перемыл, а Кривокурихе все как с гуся вода. Она, знать, на стол мечет да приговаривает: «Ты, Андрюша, выпей, покушай, поначалу — намаялся то ведь как! А там и порешаем, что с калымом-то делать».

Андрюха, конечно, про деньги гнет и гнет, а живот все равно свое просит. Ну, он и поддался. А у Андрюхи же привычка, знаешь поди,— он ведь перед каждой стопкой крестным знаменем себя осеняет и произносит: «Ну, Господи, благослови!».

Он себе и в этот раз не изменил, конечно. Но, как только произнес свое коронное, да стакан к губам поднес, тот у него возьми в руках, да и тресни! Так треснул, что аж весь стол осколками засыпал! «Тулуп» весь лицом побелел да со двора-то ее и вышел резко. Нам еще, проходя, шепнул — не пейте, мол, ребята ее самогон — заговоренный он. Сам знаешь, чего про нее судачат. А нам-то с такого расстройства без вина вообще тяжко было — хоть вой. Вот и послали мы Андрюху с евойной дурью туда, куда девок обычно приглашают,— усмехнулся Балда.— Самогон и на самом деле особенный какой-то у нее — после литровины на троих унесло нас так далеко, что аж страх взял не вернуться оттуда. Жаль только вот, что лапу сосать и дальше теперь придется. А у меня еще и случай такой, что треснуть надо, а денег найти.

— А что за случай-то?

— Да Аленке День рождения послезавтра, а гостинец покупать мне и не на что. А она ведь ждать будет — знает, что папка ее не забудет.

— Так ты что — совсем без гроша?

— Гол как сокол. Тяжело сейчас здесь с работой. В колхоз к Палычу я не пойду — это все равно, что гадюку на болоте дразнить. Я ему там как бельмо на глазу буду. Он и так разговоров про Зойку избегать старается, а тут вдруг мне еще заместо красной тряпки пред его глазами заявиться? В город убежать, вослед дражайшей супруге? Так это можно сразу в каталажку направляться — ну не смогу я там удержаться о того, чтоб рыло ее конторскому не начистить! А если уж про сам завод-то говорить — тоскливо для меня все там. В цеху летом особенно тяжело — не вздохнуть. Что сталеваром, что сварщиком, что слесарем — не мое это. Другое дело совсем — на воздухе бревна тесать или лес валить на просеке. Вот это по мне! Только туго нынче с работой-то для плотника!

— Может тебе продать что-нибудь?

— Да нечего. Если только паутину из углов собрать да бельевую веревку из нее сварганить. Только еще не факт, что сам ее использовать не захочу — совсем тоска зеленая заела, даже вино не помогает. Как Аленку в город отвезу, так и берет сразу за сердце. Как клещами. То надавит посильнее, то ослабит.

— А много ли целковых на подарок тебе надо-то? Чай девчонка, не королевна какая.

— Да рублей пять — семь. Аленке рисовать дюже нравится. Все говорит: «Вот

бы красками настоящими, масляными попробовать!» Я тут в Горький ездил недавно — Савельичу мебель грузить помогал — да и зашел на Свердловку. А там увидел вывеску — «Художественный салон». Зашел, — а там чего только нет — кисти, холсты, краски, картины разные продаются. Красиво все. Смотрю — масляные краски лежат — пять семьдесят. Думаю: «Вот Аленка обрадовалась бы!» А денег с собой нет ни шиша. Калымов мало последнее время. Народу на хлеб не хватает — какая уж тут стройка! А Аленка ведь ждет — знает, что я ради нее в лепешку расшибусь. Не то что маманя с хахалем ее. Я вот думал — у Кривокурихи баню поднимем — да займею рубликов. А с ней видишь как все получилось.

Чельш сочувственно покачал головой.

— Эх, вот бы помочь как тебе! Да в долг не дашь — не вернешь ведь, пропьешь. Знаем мы вас, плотников — работников. Да мне бы и так не жалко тебе подсобить, да говорят толка не будет в этом, если задаром, — у переносицы Чельша собрались глубокие-преглубокие борозды, нос вдруг как-то заострился, а глаза потонули под нависшими бровями. — а может мне у тебя какую-нибудь безделицу купить?

— Может, лапти возьмешь? От деда Семена еще остались. Вещь самая что ни на есть полезная. Любым из них Ваське с первого раза в рожу попадаю, когда он, злодей, на стол запрыгнуть решается.

— Да нет, что ты! И кошки-то у меня отродясь не водилось. Может, ты мне что-нибудь не такое ценное продашь? Все ж таки сам дед Семен вязал лапти-то. Таких мастеров нынче не сыщешь.

— Что же тебе продать-то? Нет у меня ничего.

— Ну, не скажи! Есть кое-что.

— Говори, Чальш, не томи! Что же это за сокровище такое у меня есть, о котором я сам и не знаю?

— А вот песня у тебя есть, что ты каждый вечер горланишь. Про партизан там что-то.

— Да хорош шутить! Как это так — песню продать? Да и на кой она тебе?

— Ну, тебе-то она ведь на душу легла. А мне, думаешь, не может? Хоть на ушах моих в свое время целое семейство медвежье потопталось, а песни я люблю, с армии еще. Только, вишь чего — почти у каждого мужика в деревне есть своя козырная. Вот я и подумал — пусть и у меня такая песня будет. Мне эта, про «туманы-партизаны», приглянулась очень. Давай, я тебе шесть целковых, а ты мне слова ее на листочке запишешь, а сам другую какую выучишь. Ты — парень шустрый по таким делам. А песен разве хороших мало?

— Нет, Иваныч, другую без толку петь. Эта у меня от души идет. Тоску она глушит, пока звучит. Я ее услышал, когда в госпитале лежал в сорок втором. К нам тогда знаменитый хор Пятницкого приезжал. Много песен они нам спели — русские народные в основном. Но как стало подходить к концу, объявили, что решили исполнить сегодня совсем новую песню. И тут выходит на сцену девушка, — Валентиной, кажись, звали. Молоденькая такая, симпатичная. Как только запела, у меня ком в горле встал да слезы предательские на глаза начали наворачиваться. Песня закончилась, а в зале тишина, ни звука. Видно, не на одного меня она так подействовала — все как в ступор вошли. Тут меня понесло будто что-то. Я до сцены в три прыжка добежал да как чмокну эту Валю в щечку ее румяную. Спасибо, Вам за песню такую чудесную! — говорю я ей. — нельзя ли повторить? Она стоит, глазами своими хлопает — опешила, видать, сильно. А тут еще все как захлопают, костылями по полу застучат, заорут: «Браво! Бис! Дашь еще!». Раза четыре они эти «Туманы» спели тогда. С тех пор вот и не расстаюсь я с ней, с песней-то. Она мне, можно сказать, как талисман — пока помню, пою. Пока пою, жить еще хочется.

— Ну, если так она дорога тебе, извини — не знал! А ты, Санек, не грусти, не тоскуй — образуется все у тебя. Ты, вон, какой еще молодой да складный! На селе ни одной холостой али вдовой бабенки не осталось, которая тебя глазенками-то своими еще не обстреляла. Ходил бы да вместо того, чтобы песни орать, по сторонам получше посматривал. Ну да ладно — кому-кому, да не мне тебя учить. Пойду я — забор поправлю. Как говорится — «делу время, а потехе — час». Вот час мой, который на потеху, весь и вышел. Бывай здоров!

— Петр Иваныч!

— Чего еще?

— Постой! А про то, что песню у меня купишь — ты не пошутил?

— Нет, конечно. Ты когда разве слышал, чтобы я шутил?

— Да нет, ни разу. Верится в это с трудом что-то. Ну а коли я решусь продать тебе эту песню, как узнаешь, что я слово свое сдержу?

— А я тебе, Саня, на слово поверю. Село ведь у нас не такое большое. На одном конце чихнешь — через полчаса уже каждому двору известно. А ты что, или надумал вдруг?

— Да негде мне больше денег искать, а для дочки чего не сделаешь. Переживу как-нибудь. Есть карандаш? Давай напишу слова.

— С собой нет. Сейчас из дома вынесу. И целковые захвачу впридачу. Погодь маленько.

Буквально через несколько минут Чельш вернулся с листком писчей бумаги, идеально подточенным карандашом и несколькими изрядно помятыми купюрами в руках.

— Возьми, вот, семь рублей — и на краски хватит, и на дорогу до Горького в оба конца.

— Давай карандаш. Я слова тебе сначала запишу.

Балдин старательно вывел протрезвевшими руками на помятом, неровном листе бумаги слова, которые помнил всегда и в любом состоянии мог повторить наизусть. Поставив последнюю точку, он еще раз пробежал глазами написанное и, вдруг, неестественно резким движением протянул листок Чельшу.

— Ну, держи, Петр Иваныч, пользуйся. Хорошая песня. А что, семь рублей — это ведь не тридцать сребреников? Или без разницы...— Сашины губы скривились в жалкое подобие улыбки. Он взял протянутые Чельшом целковые, опустил голову и медленно побрел по направлению к родному дому, будто бы разыскивая что-то у себя под ногами.

Последнюю фразу Балды Чельш не понял. Да и чего только хмельному на язык не придет. Он аккуратно вчетверо сложил листок со словами песни и убрал во внутренний карман пиджака. Пользоваться он им, конечно, не собирался. «Все равно пусть лежит. Вместо договора будет»,— ухмыльнулся Чельш и достал новую папиросу. Вечер начинал налаживаться.

\* \* \*

Через пять месяцев автобус с заиндеветыми окнами вез Чельша в родное село. Он еще с осени обосновался в городе и работал на заводе сварщиком — вспомнил профессию легко, заново учиться не понадобилось. Денег получал несравнимо больше, чем в колхозе. Вечером ходил в кино. Иногда на танцы выбирался. Нет, не танцевал. На девок глазел. Да и не только глазел, конечно. Такие крали приходили — в кино не увидишь, не то что на селе! А настоящих мужиков, таких, как он, было в ту пору мало совсем. Вот и попадали эти птахи в его силки практически беспрепятственно.



Но что же тогда повлекло его домой? Две причины. Одна, можно сказать, официальная — племянника в армию проводить надо было.

Про вторую причину Чельш никому не рассказывал. Около двух недель назад из села ему пришло письмо. От девушки. Звали ее Елена Щукина. Жила она на соседней слободе, их огороды разделял лишь один невысокий забор. Совсем недавно Чельш ее даже не замечал. Так, носилось что-то мимо сопливое, с вечно разбитыми коленками и в залатанных платьях и сарафанах, что доставались от двух старших сестер донашивать. То корову из стада встречает, то по воду бежит, то с мальчишками играет в чижа или в салочки. А буквально прошлым летом как расцвела девица, налилась березовым соком так, что ее теперь иначе как «Елена Прекрасная» никто и не называл.

Тем удивительней было Чельшу узнать из письма, что уже два года, как смотрит на него Елена не только как на соседа, но и как на мужчину, с которым хочется прожить бок о бок всю свою жизнь. Однако по причине природной скромности и строгого воспитания подойти и заговорить первой она даже и мысли себе не могла позволить.

Чельш был сильно обескуражен этим письмом. Он несколько раз его перечитывал, до конца так и не веря в то, что там было написано. Искал какой-то подвох, но так и не смог найти. Он просто-напросто ни во что уже не верил. Чтобы унять непопятную ему доселе тревогу, твердо решил при первом удобном случае поговорить с Леной и все окончательно для себя выяснить.

Подходящий повод для поездки в село не преминул представиться — сына старшей сестры Анюты, Егора, призвали в армию и она, собирая сыну проводы, естественно пригласила на них и брата Петра. Анюта, как и Елена, жила на соседней от Чельша улице, только на четыре дома дальше.

К дому Анюты он подошел около шести часов вечера. По шуму, который был слышен издали, было понятно, что застолье уже в разгаре. В прихожей Чельш заметил, что все половики сняли для удобства гостей, поэтому, не разуваясь, сразу же проследовал в большую комнату. Кровать из нее вынесли, а к обеденному столу, который находился в центре помещения, приставили еще два.

Гости уже успели разделиться на группы «по интересам» и наполнить весь дом шумом базарной площади.

Анюта заметила брата и сразу захлопотала — за столом было довольно тесно и нужно было быстро найти для Петра место и при этом никого не обидеть. Она блестяще справилась с этой задачей и буквально за две минуты уговорила постесниться своих говорливых родственников — мужниных теток — Тамару и Евдокию и бабу Дусю, которую местные юмористы прозывали «Дульсинеей».

В результате Чельш оказался аккурат между ними. Напротив, через стол, его соседями оказались бригадир сельских плотников Андрей Тулупов с женой Марией.

— Здорово, Иваныч! — Тулупов привстал и протянул Чельшу свою здоровенную «клешню».

— Здорово. Андрюха! Как дела у тебя? Работы хватает?

— Да уж не жалуемся — сам, поди, знаешь, что с осени завод начал материалы выделять для своих работников на строительство. Рук там хватает не всем. Вот они нас и зовут на подмогу. Мужиков толковых только все меньше и меньше. А так — отказывать даже некоторым приходится.

— А мужики-то куда пропадают? Война-то уже закончилась.

— Да в город почти все уехали. А те, кто остался — зашибают сильно или вообще сгинули, как Сашка Балдин.

— Балдин? А что с ним?

— А ты разве не знаешь? Ведь уже почти месяц как нету его.  
— Как нет? Да где же он?  
— Да сказал же — нету! Умер он, погиб!  
— Как умер? У него здоровья на полдеревни бы хватило.  
— Да спился он, тоска, видно, заела. Летом еще ходил — песни распевал, а по осени запил по-черному. Тут уж, видно, ему не до песен уже было. А под Новый Год запоролся зачем-то далеко в лес, на Зимовку, да и замерз там насмерть — пьяный был, не почувствовал, наверное, даже, что отходит. Я вот все думаю, что так и не смог он перенести того, что Зойка в город к своему инженеришке сбежала, шалава поганая! Какого мужика погубили! Лучший плотник в бригаде был!  
— Слыш, Андрюша, а ты знаешь, как он перед смертью начудил-то еще, Балда-то наш? — решила вмешаться в разговор «Дульсинея».  
— Ты это о чем, тетя Дуся?  
— Да говорят, что когда нашли его, в лесу, замерзшего, то шибко удивились, зачем он туда с собой целую коробку красок захватил. Сашка отродясь акварелями не баловался. Что за черт его заставил эти краски в лес тащить?  
— Да если тебя, баба Дуся, тоже «белочка» посетит, ты и не то в лес потащишь,— губы Тулупова скривились в язвительной ухмылке. «Дульсинея» ему не нравилась, потому что она была «тихой» стервой и сплетницей, впрочем, как и добрая половина деревенских бабушек,— может, сковородку любимую, а может — граммофон.  
— Что это ты, Андрюша, на меня так осерчал? Я или чего не так сказала? — заискивающе пропищала баба Дуся.  
— Да ты поменьше языком мели, да побольше внуков воспитывай, а то вырастут лоботрясами, как Коленька твой! Говорят тебе — пил мужик по-черному с сентября самого, не осталось у него разума к зиме уже никакого! Тосковал он страшно. А, ведь, все из-за вас, из-за баб! Вся любовь у вас только на словах, а деле... Эх! Да что я тебе говорю! Как о стенку горох! — Тулупов резким движением опрокинул себе в глотку все жгучее содержимое стограммового граненого стакана и уставился невидящим взглядом в пол.  
— Андрюшенька, не сердчай на меня, глупую старуху! — заверещала «Дульсинея». С ним ей невыгодно было ссориться. Баня у нее совсем покосилась, а Коленька — хоть и сын родной, а руками своими лучше всего умел если только в носу поковырять.  
— Давайте лучше песню Сашину любимую споем. Ему, наверное, там приятно будет,— вклинилась в диалог тетка Тамара и, не дожидаясь ответа, затянула своим дребезжащим голосом:

*«Ой, туманы мои, растуманы,  
Ой, родные леса и луга!  
Уходили в поход партизаны,  
Уходили в поход на врага.  
Эх! Уходили в поход партизаны,  
Уходили в поход на врага»\*.*

«Дульсинея», пытаясь сгладить негативный осадок от своей эскапады, почти сразу же подхватила:

*«На прощанье сказали герои:  
— Ожидайте хороших вестей!»*

---

\* «Туманы» — Музыка В. Захарова, слова М. Исаковского

— *И на старой смоленской дороге  
Повстречали незваных гостей*».

Следующий куплет этой песни слышали уже все без исключения Анютины гости, потому что его вместе со старушками уже ревел своим громоподобным басом бригадир артели плотников Андрюха Тулупов:

*«Повстречали — огнем угощали,  
Навсегда уложили в лесу  
За великие наши печали,  
За горячую нашу слезу».*

После этого пели уже все. Оказалось, что благодаря ежедневным концертам Сашки Балдина, слова этой незамысловатой песни отложились в памяти практически у каждого жителя слободки:

*«С той поры да по всей по округе  
Потеряли злодеи покой:  
День и ночь партизанские вьюги  
Над разбойной гудят головой».*

Чельшу что-то сильно давило на грудь и в то же время нестерпимо сжимало виски. Он резко выскочил из-за стола, подхватил с вешалки свою фуфайку и молниеносно скрылся за дверь.

Выйдя на улицу, он зашагал напрямик к дому, в котором жила Елена. Колючий морозный воздух обжигал лицо. Но Чельш не чувствовал этого. Решил закурить. Достал и стал зачем-то на ходу разминать в руке папиросу. Остановился. Резко вскинув руку, выбросил ее, смятую, в сугроб. Развернулся и быстрым, твердым шагом двинулся в противоположную сторону.

В кривеньком Анютином домике, несмотря на довольно сильный мороз, окна были распахнуты — тепло от человеческих тел никак не могло уместиться в тесных, похожих на кельи, комнатках. Из окон на стылый воздух вырывались знакомые до дикой, тянущей боли слова:

*«Не уйдет чужеземец незванный,  
Своего не увидит жилья...  
Ой, туманы мои, растуманы,  
Ой, родная сторонка моя!»*



**Геннадий Маркин**  
(г. Щекино)



**ЗВЕЗДА НАД КОПРОМ**  
(глава из повести)

В Москве Иван остановился у старых знакомых отца, которые жили в большой трехкомнатной квартире на Бауманской улице. Узнав, что Ивана направляют в командировку в Москву, Матвей Кузьмич сходил к односельчанину Федору Семеновичу Травкину и узнал у него адрес и домашний телефон его брата Василия и своего друга детства, который жил в Москве. Позвонил он ему с междугородней телефонной станции, незадолго до этого открывшейся в Шахтерске. Услышав старые и огрубевшие от времени, но все равно хорошо узнаваемые и даже родные голоса, оба очень обрадовались друг другу. Долго вспоминали родные Озерки, односельчан. Вспомнили, как босоногими пацанами ловили в озере рыбу и Василий чуть не утонул, но его уже захлебывающегося успел вытащить из-под воды Матвей. Вспомнили, как мыли по вечерам в озере лошадей, а барский конюх дед Авдей разрешал им за это на них покататься верхом. Вспомнили, как вместе работали на шахте и уже Василий спас Матвею жизнь, вытащив его из-под шахтного завала. Много вспомнили два старых друга, не видевшиеся почти полвека, даже всплакнули втихомолочку. А еще о многом они вспомнить не успели из-за короткого времени их разговора. Матвею Василий сказал, что он будет очень рад встретить, познакомиться и приютить на время у себя дома его сына Ивана.

В доме Травкиных Ивана встретили как родного. Василий Семенович даже обнял его и, не дав толком снять верхнюю одежду с обувью и подарить переданные отцом деревенские подарки, потянул его на кухню, где в это время расставляла на стол тарелки с закусками Светлана Борисовна.

— Ты посмотри, Светлана, вылитый Матвей! — сказал он жене. — Нет, ты только посмотри, такой же высокий, плечистый, с ямочкой на подбородке, вылитый Матвей! И такой же, как и Матвей, черноволосый! Хотя вы, Петровы, все там, в Озерках, чернявые были, как цыгане! — не переставал радоваться Василий Семенович. — Ты посмотри на него, посмотри! Помнишь Матвея-то? — спросил Василий Семенович у жены.

— Я его плохо помню, я видела его только один раз, — улыбнулась Светлана Борисовна, рассматривая Ивана, который смутился от такого радушного приема.

— Давай, давай, Светлана, расставляй закуску, а то Иван с дороги, наверное, проголодался, — начал поторапливать жену Василий Семенович, доставая из холодильника бутылку водки.

— Да нет, я не проголодался, вы не волнуйтесь, — ответил смущенный Иван.

— Ты не разговаривай, а давай садись за стол, — приказал гостеприимный хозяин. — Светлана, а ты куда это собралась? — спросил он у жены, увидев, как та направилась из кухни.

— Пойду я, Василий, что-то нездоровится мне, давление, наверное, поднялось, — ответила Светлана Борисовна.

— Что, может врача вызвать? — растерянно спросил он у жены.

— Не нужно, я пойду приму лекарство и прилягу,— ответила та.— Вы извините меня, Иван, что не составлю вам компанию,— сказала Светлана Борисовна, обращаясь к Ивану. Тот в согласии кивнул головой.

— Отец-то, наверно, на пенсии? — спросил Василий Семенович, разливая водку в рюмки.

— Давно уже,— ответил Иван.

— А сыновья-то его, твои братья, они как живы-здоровы? Старшего-то, по-моему в честь деда Кузьмой назвали, а вот второго забыл как зовут, хоть убей, забыл. Да уж и времени-то сколько прошло?! — растерянно проговорил Василий Семенович.

— Семеном его зовут, он сейчас в Горьком живет, на строительстве завода работает. Женится, дети у него маленькие растут.

— Это хорошо, что женился,— улыбнулся Василий.— А ты-то не женат еще?

— Нет, я еще не женат,— смутился Иван.

— Ну и правильно, что не женат, успеешь еще — женишься,— произнес Василий Семенович и вновь потянулся к бутылке. Плесканул себе немного водки и хотел налить Ивану, но увидев у него рюмку полной, поставил бутылку на стол.— А ты чего не пьешь? Стесняешься или не пьющий? — спросил он.

— Не хочется что-то,— ответил Иван.

— Ну и правильно, успеешь еще,— произнес Василий и разом опрокинул содержимое рюмки себе в рот.— Ну, а старший, Кузьма, он-то как? Я слыхал, будто посадили его, отсидел или еще нет? Сколько ему дали-то,— вновь спросил Василий, не переставая жевать.

— Да, его во время войны еще посадили на десять лет.

— Ого! Многовато! За что же его?

— Как врага народа осудили,— нехотя ответил Иван, опустив голову и отложив в сторону вилку. Ему был неприятен разговор о старшем брате, но Василий Семенович об этом не догадался.

— Не пришел еще? — вновь спросил он и потянулся вилкой к тарелке с лежавшими в ней тонко нарезанными колбасными дольками.— Да ты ешь, ешь, не сиди сложа руки-то,— проговорил Василий, увидев, что Иван ничего не ест.

— Нет, еще не пришел,— ответил Иван и, взяв вилку, начал неспешно есть.

— Пора бы уже прийти! — удивился Василий.— А что пишет, почему задерживается?

— Врагов народа судили без права переписки,— дерзко ответил Иван. Ему не хотелось развивать эту тему, но как ее остановить, не обидев радушного хозяина квартиры, он не знал, а потому терпел. Из последних сил, но терпел.

— Да-а, дела-а! — задумчиво протянул Василий Семенович и вновь потянулся к бутылке. Налил себе и молча выпил.— Дела-а! — вновь повторил он и замолчал. Даже закусывать не стал.

Иван его молчание принял за возникшие в сознании Василия Семеновича опасения и даже страх из-за того, что пригласил к себе в дом родственника находящегося в лагере врага народа. Он стушевался, не зная, как себя вести дальше в сложившейся ситуации.

— Может, я пойду, Василий Семенович? — спросил он.— Там в институте иногородним обещали места в общежитии предоставить.

— А что так? — удивился тот.

— Да, может быть вам не совсем удобно... — растерянно начал Иван.

— Что мне неудобно? — Василий начинал улыбаться, он понял, возникшие в голове Ивана мысли и ему стало смешно.

— Ну, все-таки я родственник... врага народа... и в вашей квартире...

— Ты чего, подумал, что я испугался? — засмеялся Василий Семенович во весь голос.— Выкини из головы такие мысли. Бориса Всеволодовича, отца моей жены, перед войной арестовали как врага народа, якобы он до революции был эсером?! Вот здесь, в этой самой квартире при обыске все вверх дном перевернули, искали доказательства его принадлежности к партии эсеров. Каждое хранившееся письмо от его боевых товарищей еще по гражданской войне перечитывали по нескольку раз. Ничего не нашли, а все-равно посадили. И тещу мою дорогую вслед за ним тоже замели, за то, что она скрыла от властей, что Борис Всеволодович раньше был эсером! — Василий Семенович вновь засмеялся в голос.— Идиотизм! Она его в те времена даже еще и не знала! Неделю ее в тюрьме продержали, а потом выпустили. И нас со Светланой Борисовной тоже на допросы таскали, но ничего они от нас не добились! А Бориса Всеволодовича, как только война началась, из лагеря выпустили. Нужны были опытные инженеры, чтобы начать масштабный выпуск военных машин, вот о нем и вспомнили. Потом ему даже Сталинскую премию вручили за хорошую работу, но мы думаем, что это была вроде бы как компенсация за то, что его продержали в лагере! И Борис Всеволодович, и Валентина Евгеньевна до самой своей смерти смотрели на нас со Светланой с гордостью и благодарностью за то, что мы на допросах не сломались и не дали против них никаких показаний! Так что мы с женой — калачи тертые! А ты подумал, что я испугался! Эх ты, Иван! — Василий Семенович похлопал Ивана по плечу. От выпитого он захмелел, лицо его покраснелось, глаза блестели, его потянуло на разговоры.— Да мы с твоим отцом в шахте каждый день смерти в глаза смотрели и не боялись, а ты подумал обо мне, как о трусе! — он горестно вздохнул.

— Просто вы надолго замолчали, а я и вправду подумал, что вы испугались,— сказал Иван. Ему стало стыдно за свои мысли.— Простите меня, Василий Семенович, за эти мои подозрения,— покраснев, проговорил он.

— Ладно, ладно, я не сержусь,— миролюбиво произнес Василий Семенович.— А замолчал я от того, что задумался о брате твоём Кузьме. Думаю, может быть, его освободили, а после освобождения куда выслали? Но неужели он не может там, в ссылке, найти возможность и сообщить о себе?! Вам бы надо в НКВД сходить и все у них там узнать,— посоветовал Василий Семенович. Иван в знак согласия кивнул головой.

В это время в прихожей раздался щелчок замка, и открылась входная дверь. Через пару минут в кухню буквально вбежала девушка лет восемнадцати на вид. Она была среднего роста, не толстая, но и не худышка. Одета она была в синюю кофточку и узкую темную юбку. Темно-русые волосы были острижены по плечи, чуб заколот в правую сторону.

— Привет, дед! — проговорила она и поцеловала Василия Семеновича в щеку.— У нас гости? — поинтересовалась она у деда, при этом с интересом взглянула на Ивана выразительными голубыми глазами.

— Да это Иван, сын моего старого друга, приехал в Москву из Шахтерска на повышение курсов, недельку поживет у нас в квартире,— ответил Василий Семенович и повернулся к Ивану.— Познакомься — это моя внучка Маринка.— Иван привстал со стула и моча кивнул Марине головой.

— А что это, сын твоего друга разговаривать не может? Только может головой кивать? — спросила Марина у Василия Семеновича, с ироничной улыбкой на лице продолжая внимательно, до неприличия, рассматривать Ивана. От улыбки на ее покрасневшихся от мартовского морозца щечках образовались ямочки.

— Почему же не могу? Могу,— только и смог вымолвить смутившийся под Мариным взглядом Иван.— Меня зовут Иваном,— сказал он.

— А меня — Мариной. А еще меня называют — Марикой, Марьян и даже Мэри. Это кому как захочется,— проговорила она, вновь растянув тонкие небольшие губы в улыбке.— А ты, дед, вообще-то, спяна ничего не перепутал? Может быть, Иван твоему другу доводится не сыном, а внуком? — спросила Марина, повернувшись к Василию Семеновичу и указывая при этом кивком головы на стоявшую на столе почти пустую бутылку из-под водки.

— Ничего я не перепутал. Иван родился, когда его отцу, а моему другу детства, было уже довольно-таки много лет. На Руси это называется — поздний ребенок. Тебе бы, как будущему журналисту, такое нужно знать,— отшутился Василий Семенович на бестактность внучки.— Кстати, Иван, моя внучка учится в МГУ на журналистку.

От услышанного Иван неподдельно удивился. Он еще ни разу в жизни не встречал девушек, которые учились бы в МГУ, тем более на журналистку. А уж чтобы когда-либо познакомиться с такими девушками, даже и не мечтал. Втайне он был рад новому знакомству. Марина ему понравилась и внешне, и своим поведением — кокетливым и раскрепощенным. «Наверное, в Москве все девушки такие — незажатые и свободные, не то, что наши!» — глядя на Марину, подумал Иван.

— И чем же мы занимаемся, «поздний ребенок»? Я так поняла, что учимся в каком-то московском институте, и теперь приехали сюда на сессию? — спросила Марина. Она присела за стол, наколола на вилку кусочек колбасы и, неспешно положив его себе в рот, начала медленно его пережевывать, не переставая при этом буравить Ивана взглядом.

— Мы работаем на шахте, а сюда приехали в Московский институт угольно-добывающей и горной промышленности на курсы повышения профмастерства,— в тон Марине ответил Иван. Он уже перестал тушеваться перед красотой Марины и взял себя в руки, вот только ладони продолжали оставаться потными, но он их умело маскировал, убрав руки со стола.

— Представляешь, Маринка, Иван приехал в тот самый институт, который я в свое время закончил,— вступил в разговор Василий Семенович, но Марина на деда даже не взглянула, она бесцеремонно и бестактно рассматривала Ивана.

— Ух, ты! Как интересно! — теперь уже она неподдельно удивилась.— Никогда в жизни еще не видела настоящих шахтеров.

— Как не видела, а я? — спросил у нее Василий Семенович.

— Ты, дед, шахтер не настоящий, ты в метро работал.

— Здасьте-пожалуйста, не настоящий!? А раньше-то я на шахте работал! — возмутился Василий Семенович.

В это время на кухню вошла Светлана Борисовна и поздоровалась с Мариной.

— Привет, бабуля! — ответила та на приветствие.— Бабуль, правда дед у нас не настоящий шахтер, а метростроевец? — спросила она.

— Почем же не настоящий? Когда мы с дедом познакомились, он работал в шахте. Это он потом, уже живя здесь, в Москве, стал метростроевцем,— ответила Светлана Борисовна.

— Ты как себя чувствуешь? — озабоченно спросил у жены Василий Семенович и взял ее за руку.

— Да ничего, я поспала и теперь мне лучше.

— Никогда еще так близко не общалась с настоящим шахтером,— не обратив никакого внимания на то, что Светлана Борисовна занемогла, проговорила Марина, не отводя взгляда от Ивана.

— А я никогда не общался со студенткой московского университета, тем более с журналисткой,— ответил Иван.

— Пока еще не с журналисткой,— пожала плечами Марина.

— Ну, с будущей журналисткой, какая разница? — Иван взглянул на Марину. Их взгляды встретились и они, сами того не ожидая, улыбнулись друг другу.

— А чем ты собираешься занять себя? — спросила у Ивана Марина.

— Завтра утром мне нужно быть на курсах в институте.

— Я имею в виду день сегодняшний, — уточнила она. — Сегодня ты что делать будешь? Уж не собираешься ли ты сидеть дома?

— Марина, оставь человека в покое, — придав голосу строгие нотки, проговорил Василий Семенович. — Иван с дороги, может быть он хочет отдохнуть, а ты его уже замучила со своими расспросами.

— Нет, нет, Василий Семенович, я не устал, — ответил Иван, а затем повернулся к Марине. — Ничем я сегодня не занят, а дома сидеть мне не хочется, если только свои старые конспекты, которые я вел еще в техникуме, почитать, на всякий случай я их взял с собой, — ответил он.

— Не нужно тебе читать твои конспекты, — тоном, не терпящим возражения, произнесла Марина. — Сегодня мы с друзьями, тоже со студентами, собираемся на речную прогулку на пароходе по Москва-реке, не хочешь ли ты составить нам компанию? — спросила она у Ивана.

Иван не ожидал такого поворота событий. Ему, конечно же, очень хотелось пообщаться с москвичами, поговорить со своими ровесниками, узнать, как и чем живут они в столице, что их интересует, что волнует, чем они увлекаются? А уж со студентами он пообщаться даже и не мечтал, а тут такая удача! Но еще больше Ивану хотелось по-долше побыть в обществе Марины. И он с радостью согласился.

— Если вы готовы взять меня в свою компанию, я с удовольствием, — ответил Иван, моментально вставая из-за стола, опасаясь, что Марина передумает брать его с собой.

Спустя пару часов Иван с Мариной были уже на Речном вокзале в Химках, где Марину уже давно ожидали ее друзья.

— Мэри, ну ты что так долго? Мы тебя уже заждались, — недовольно проговорил один из парней, на вид ровесник Марины, высокого роста и худощавого телосложения. Одет он был в длинное темное пальто и серую шляпу. Под пальто у него была белая рубашка с повязанным на ней темным узким галстуком. Черные брюки внизу были очень узкими и коротковатыми до такой степени, что были видны его темные носки. Обут он был в легкие остроносые туфли. Он бесцеремонно обнял Марину. — Мэри, я уже без тебя соскучился, — плаксиво-тянущим голосом произнес он и изобразил мученическую гримасу, глядя на Марину жалобным взглядом голубых глаз. Затем, издав вдруг звериное рычание, прижал Марину к себе. Она тоже обняла его за тонкую талию, и они, слегка прикоснувшись друг друга губами, наигранно поцеловались. — Эдичка, и я по тебе успела соскучиться, — ответила ему Марина.

Ивану это не понравилось, но он сделал вид, что не заметил этих ужимок.

— Познакомьтесь, — это Иван, знакомый моих родителей. Он приехал из какого-то Шахтерска на какие-то курсы, и временно остановился у нас в квартире, — представила Марина Ивана своим друзьям. Затем она взглянула на Ивана. — А это, Иван, мои друзья: Эдуард, Виктор и Танечка.

Эдуардом оказался тот высокий парень, который обнимался с Мариной и который Ивану не понравился, из-за чего он его мысленно обозвал «долговязым». Виктор на вид было около двадцать лет, он был невысок и коренаст. Одет он был в темное пальто с повязанным под ним серым шарфом. Пальто было очень длинным и края его доходили Виктору почти до щиколотки, но, тем не менее, из-под пальто были видны отличающиеся от Эдуардовских широкие брюки. Обут он был в черные ботинки, на голове надета серая кепка, которую Виктор надвинул низко на карие глаза. Татьяна



была ровесницей Марины, небольшого роста и худощавого телосложения, черноглазая, с ярко накрашенными губами. Одетая она была в короткую темную шубку, узкую, как и у Марины, юбку и короткие красные сапожки. На голове была надета красного цвета шапочка-лодочка, из-под которой выбивались локоны черных волос.

— Мы с Эдуардом вместе учились в университете, а потом его исключили за то, что у него очень узкие и короткие брюки. Преподаватели потребовали от Эдуарда, чтобы он их не носил, но он не выполнил их требование, и его за это исключили,— рассказала Марина Ивану, представляя Эдуарда.

— Как исключили?! Что, разве за такое могут исключить из университета?! — спросил Иван. Он был шокирован от услышанного.

— Могут,— ответила Марина.— А Эдичка — молодчина, не поддавался им! — улыбнулась она, взглянув на Эдуарда.

«Какой же он — молодчина?! — мысленно удивился Иван восторгу Марины.— Из университета вылетел, дурная голова! Вот если бы мне выпала такая возможность — учиться в МГУ, я бы беспрекословно выполнял все требования преподавателей, лишь бы только учиться в университете и закончить его», — подумал Иван.

— Татьяна — будущий юрист, она учится в юридическом институте, а Виктор — это друг Татьяны. Он тоже студент, учится на кинорежиссера,— продолжала представлять Марина своих друзей.

— На кинооператора. Я учусь не на кинорежиссера, а на кинооператора,— поправил Марину Виктор.

Иван назвал свое имя и протянул мужчинам руку для рукопожатия, Татьяне он кивнул. Новые знакомые Ивана произвели на него различные впечатления. Эдуард ему не понравился сразу. Во-первых, при знакомстве с ним в его взгляде промелькнула искорка какой-то брезгливости, а уголки губ при этом скривились в надменной улыбке. Во-вторых, он показался Ивану человеком не серьезным и даже слегка глуповатым. В-третьих, и это было самое главное, что Эдуард бесцеремонно и бестактно обращался с Мариной. Виктор Ивану показался человеком малоразговорчивым, не общительным и даже каким-то угрюмым. Татьяна Ивану понравилась своей скромностью, малоразговорчивостью и поведением, которым она походила на девушек, живущих в его родном Шахтерске, только она в отличие от них несколько иначе одевалась.

Иван достал деньги, отсчитал необходимое для вскладчины их количество, и протянул Татьяне, которая пошла к кассе покупать билеты. На причале в ожидании парохода уже собралось много народа и вскоре, издав длинный и гундосый гудок, причалил пароход «Дон». После того, как пассажиры вошли на пароход, он вновь прогудел длинно и, заурчав мотором, стал отходить от причала и набирать ход. Пароход шел по каналу, разбрасывая на ходу мощные волны Москва-реки, которые с шумом разбивались о каменные берега. По каналу двигались плоты и баржи, навстречу проплыли огромные теплоходы «Маршал Ворошилов» и «Кузьма Минин». Бегущие от них огромные волны с шумом хлестали в борт «Дона».

Иван раньше никогда не плавал на морских или речных судах и вот теперь, стоя на палубе качающегося на волнах парохода, испытал чувство радости и даже какого-то детского восторга. Он с удовольствием смотрел то на волны, то на проплывающие мимо них пароходы, то на стоявшие на берегу канала столичные постройки. Погода была чудесная. Мартовское весеннее солнце пригревало своей теплотой, и в то же время морозный еще воздух отрезвлял от весеннего хмельного состояния.

— Предлагаю всем спуститься в ресторан и отметить знакомство с Иваном, а заодно и нашу речную прогулку,— предложил Эдуард и все дружно поддержали его предложение.

В ресторане, который находился в трюме парохода, было уже многолюдно, ли-

лась тихая музыка и сизым туманом витал табачный дым. Свободных столиков не было, и друзья остановились в замешательстве. Наконец, пока Иван с Виктором ожидали очереди у стойки буфета, освободился столик. Купили вино, пиво, салаты и мороженое.

— Ну, и чем же сегодня живет село? — обращаясь к Ивану, спросил у него Эдуард, осушив бокал с вином.

— Да тем же, чем и Москва, — ответил Иван. Он тоже выпил вина, и оно приятно растеклось по всему телу.

— Ну, не скажи, не скажи. Москва — это Москва! Столица! Мы здесь можем себе позволить сходить вечером в кино, в театр, в цирк, в музеи какие-нибудь. Вот можем совершить речную прогулку на пароходе по каналу. А вы? Чем вы занимаетесь в своем селе? — не согласился Эдуард с ответом Ивана.

— И я тоже не могу себе представить, чем можно заняться в деревне? — поддержала Эдуарда Марина, сделав небольшой глоток вина.

— Ну, каналов-то с пароходами у нас, конечно, нету, а вот в нашем районном городе Шахтерске, а не в селе, как ты, Эдуард, говоришь, тоже показывают в районном Доме культуры кино, по вечерам бывают танцы, часто приезжают артисты из области, а иногда и из Москвы, ставят спектакли. Мы тоже, как и вы здесь, в столице, живем нормальной жизнью. А вы, наверное, в Москве, думаете, что мы там у себя только хвосты коровам крутим? — засмеялся Иван. От выпитого вина и пива он немного захмелел, звучащая музыка приятно ласкала слух, общение со столичными студентами его радовало, покачивание на речных волнах успокаивало, и от всего этого он расслабился. Его потянуло на разговоры.

— А вот ты, Эдуард, скажи, как такое возможно, чтобы из-за каких-то брюк из университета вылететь?! Я этого понять не могу! — спросил он у Эдуарда.

— Ну, во-первых, меня исключили не из-за брюк, а из-за моей принципиальной позиции...

— Да какая это, к дьяволу, принципиальная позиция?! — перебил его Иван. — Глупость! Самая настоящая глупость! Бросить учебу из-за каких-то дурацких принципов?!

— Тебе этого не понять, — резко ответил Эдуард и потянулся к бутылке с вином.

— Ну, почему? — не унимался Иван.

— Ой, мальчишки, хватит вам спорить, а то я чувствую, что вы сейчас поссоритесь, — дружелюбно проговорила Марина, обращаясь к Эдуарду и Ивану.

— Нет, пусть он мне объяснит, мне хочется понять поступок Эдуарда, — сказал Иван Марине.

— Я еще раз говорю, что тебе этого не понять, — вновь ответил Эдуард.

— Ну, почему, Эдуард, почему? Ты считаешь меня бестолковым? — не унимался Иван.

— Нет, я не считаю тебя бестолковым.

— Тогда почему мне не понять твой поступок?

— Потому, что ты живешь не в Москве! — ответил Эдуард.

— А какая разница, кто и где живет? Поступки-то мы совершаем одинаково! Тебе велели надеть другие брюки, ну и надень! В конце-то концов, какая разница, в каких брюках ходить?! Они же, твои преподаватели, занимают положение выше тебя, а значит, ты должен им подчиняться, а не они тебе!

— Я согласен, что они в иерархической лестнице стоят на ступеньку, а может быть и не на одну, а на несколько выше меня! И я во всем, что касалось учебы, им подчинялся. Ну, почему, объясни мне, почему они должны мне указывать, в чем мне ходить? Какую музыку мне слушать и какие фильмы смотреть? С какими друзьями

дружить, или какой хлеб мне есть? Почему я, свободный человек, живя, как они везде говорят, в свободной стране, не имею права надеть ту одежду, которая мне нравится?! Почему? — возмутился Эдуард.

— Потому, что в жизни есть определенные ограничения, которые нельзя нарушать, — ответил Иван. — Я тоже у себя на работе подчиняюсь всем требованиям, которые мне предъявляют мои начальники.

— Государство определяет в себе такие понятия, как существование границ и правил поведения людей, проживающих в пределах этих границ. А правила поведения регламентированы соответствующими законами. Если одно из понятий исчезает, например, не будет границ или не будет закона, определяющего общественное поведение людей, то это будет уже не государство, а дикое племя, или, если хотите, стадо. Я поняла, что Иван хотел высказать именно эту точку зрения, но он не смог правильно сформулировать свои мысли, — вступила в разговор Татьяна.

— Да, именно это я и имел в виду, — ответил Иван, с удивлением взглянув на Татьяну. — Как хорошо ты, Татьяна, это объяснила Эдуарду, а то я никак не мог подобрать слова, — простодушно улыбнулся он.

— Ну, Татьяна высказалась, как юрист, — сказала Марина.

— Будущий юрист, — улыбнулась Татьяна.

— Тут я полностью согласен с Таней. Каждый человек должен подчиняться законам, — вступил в разговор, молчавший до этого Виктор. — Если не подчиняться, то будет бардак. Я был на войне и знаю, что такое — подчиняться законам и приказам! Если бы мы там не подчинялись приказам, то войну бы никогда не выиграли.

— Ты воевал? — удивился Иван.

— Да, воевал. Меня на войну взяли, когда она уже заканчивалась, но все же я успел повоевать, — ответил Виктор.

— Виктор и кинооператором-то решил стать там, на войне, — проговорила Татьяна, ласково взглянув на Виктора.

— Расскажи? — попросил Иван, обращаясь к Виктору.

— Да, ладно, — махнул тот рукой и замолчал.

— Виктор на фронте повстречался с кинооператором, который снимал кинохронику, и попросил у него разрешения взглянуть в глазок кинокамеры. А когда взглянул, то увидел все вокруг себя так, словно он находился в маленьком кинозале, как будто он попал в маленький, какой-то сказочный кинотеатр. И этот сказочный кинотеатр так увлек Виктора, что он решил для себя, что если на войне останется живым, то после войны обязательно поступит учиться на кинооператора, — рассказала за Виктора Татьяна. — Он мне сам об этом рассказывал. Правда, Витюш? — спросила она с улыбкой на лице, глядя на Виктора. Тот смущенно кивнул головой и потянулся к бокалу с пивом.

— И все-таки, я с вами не соглашусь! — вновь заговорил Эдуард. — Вот вы говорите, что нельзя не подчиняться законам! Я согласен, законы нужно соблюдать! Но написано ли в твоих, Татьяна, кодексах, что нельзя ходить в узких брюках? Вот если там такое написано, тогда я не прав, тогда я обязан был сменить брюки! Но там-то такого нигде не написано! Тогда почему я должен выполнять не расписанный в кодексах закон, а чью-то прихоть, чью-то дурость?! — с возмущением в голосе спросил он, обращаясь ко всем и в первую очередь к Татьяне.

— Кроме существующих законов еще имеют место различные подзаконные акты, а в определенных организациях и учреждениях правила внутреннего распорядка и поведения. Например, врачи при оказании помощи больным людям должны быть одеты в белые халаты, военным или милиционерам нельзя находиться на службе без ношения военной или милицейской формы. В вашем университете разработали и

утвердили правила, запрещающие ношение узких брюк,— начала объяснять Эдуарду Татьяна.

— По-моему, с этими узкими брюками сейчас идет борьба не только в нашем университете, но и везде, даже на улицах милиция забирает тех, кто ходит в узких брюках,— перебила Татьяну Марина.— Давайте лучше потанцуем, дамы приглашают кавалеров,— предложила она и, схватив Ивана за рукав, потащила его в центр зала, где в это время уже кружились в танце несколько пар. Татьяна последовала ее примеру, пригласив на танец Виктора. Эдуард остался за столиком один. Он с недвольным видом взглянул на Марину и потянулся к бутылке с вином. Налил себе целый бокал и залпом выпил. Затем задымил сигаретой и, развалившись на стуле, стал наблюдать за танцующими Мариной и Иваном.

— Не страшно тебе, Иван, в шахте работать? — спросила у молчавшего Ивана Марина для того, чтобы начать разговор.

— Нет, а чего там страшного? — удивился он.

— Ну, все-таки под землей находишься, а вдруг она обвалится?!

— Кто обвалится?

— Земля.

— Почему же это она обвалится? С какой такой стати? — спросил Иван.

— А что, разве в шахтах не бывает обвалов?

— Почему же не бывает? Конечно, случаются завалы.

— А у вас завалы были? — вновь спросила Марина.

— До меня завалы были, а при мне не было, так, небольшие аварии случались, а завалов не было,— ответил Иван.

— А какие аварии, расскажи?

— Шахту затапливало водой или пльвуном.

— А что такое — пльвун?

— Это песок с водой. Сверху по имеющимся в земле трещинам начинает течь вода, и если в земле есть слой песка, то он вместе с водой стекает в шахту,— начал рассказывать Иван.— Когда в шахте идет пльвун, то от этого пльвуна нужно держаться подальше, потому что в этот самый момент и может произойти обвал кровли. Пльвун мокрый и вязкий, а поэтому, когда в него попадаешь, то он затягивает, как болото, и были случаи, когда шахтеры, убегая от него, теряли в этом вязком песке свои сапоги,— засмеялся Иван, но Марина оставалась серьезной.

— Как страшно! — она, словно от холода, пошевелила плечами.— Ты, наверное, очень смелый и сильный, раз работаешь в шахте,— проговорила она, взглянув Ивану в глаза.

— Ну, почему смелый и сильный?! Я — обыкновенный,— Иван выдержал ее взгляд и они какое-то время танцевали молча, глядя друг другу в глаза. И в этом их молчании все громче и громче слышались разговоры их глаз. Все слышней и ясней начинали улавливаться светлые и добрые чувства их повстречавшихся взглядов, это их молчание говорило о многом, оно было громовым. «Ты очень красивая! Ты мне нравишься, но мне очень жаль, что ты не моя девушка, а этого дурака Эдички, для которого в жизни самым главным и самым важным является не твоя любовь и не будущее университетское образование, а его узкие брюки, ради которых он даже бросил учиться в университете! Коснись что, он и тебя бросит! Как вещь, как тряпку, променяет на свои узкие штаны! Неужели ты, Марина, этого не видишь? Как же ты можешь любить такого амбициозного человека, каким является Эдуард?! Будешь ли ты счастлива, если свяжешь с ним свою жизнь? Мне кажется, что ты будешь глубоко несчастной! Как же мне тебя жалко!» — печально говорили, цвета угольных колчеданов из далекого Шахтерска, черные глаза. «Зачем ты приехал к нам?! Зачем во-

рвался в мою жизнь?! Ты же все-равно не останешься со мной здесь, в Москве! Ты же все-равно уедешь к себе на родину, в свой Шахтерск! Я же слышала, с каким теплом, с какой любовью ты рассказывал мне о своей шахте! И я поняла, что твоя работа тебе нравится, твоя жизнь тебя устраивает, и вряд ли ты захочешь ее менять! Наверное, и девушка у тебя есть?! Конечно, есть! Не может быть, чтобы у тебя не было девушки! Она, наверное, очень красива, красивее меня, и ты любишь ее, и прожить без нее уже не сможешь! И ты никогда не изменишь ей, потому что такие, как ты — сильные и смелые — никогда не изменят, никогда не подведут, никогда не предадут! Как же мне жаль, что ты никогда не сможешь меня полюбить, как бы я хотела быть твоей девушкой! Я не знаю тебя хорошо, но чувствую, что ты очень хороший парень, и я ревную тебя к твоей девушке, которую никогда не видела, я ревную тебя даже к твоей шахте! Как же ты красив!» — вторили им глаза цвета синего безоблачного московского неба.

Марина отвела взгляд в сторону и положила голову Ивану на грудь.

— Ты сильный, а я слабая женщина, и у меня от вина кружится голова, мне нужно выйти на свежий воздух,— почти простонала она.

Ивану не хотелось отпускать от себя Марину. Ему нравилось кружиться с ней в танце, было приятно наслаждаться ее голубыми глазами, даже сквозь одежду ощущать тепло ее тела, чувствовать жар ее сердцебиения и слышать ее дыхание. От всего этого, от прикосновения к Марине и от выпитого вина он тоже захмелел, но Марина действительно была бледна, и Иван решил вывести ее на свежий воздух. Осторожно протиснувшись между танцующими парами, они поднялись на палубу. Приятная ресторанный музыка сменилась ровным рокотом двигателя парохода и всплесками волн за бортом, свежий мартовский морозный ветерок отрезвил, и бледное лицо Марины слегка порозовело. Она развела руки в разные стороны и, приподняв голову, подставила лицо ветру и солнцу.

— Ну как, полегчало тебе на свежем воздухе? — Иван опустил руки Марины вниз и взял ее под ручку.

— Да, мне стало лучше,— улыбнулась она.

— Сейчас, наверное, сюда придет твой Эдуард,— вздохнул Иван.

— А у тебя есть девушка? — отведя взгляд в сторону, спросила Марина.

— Да, есть,— ответил Иван и тут же пожалел о сказанном.

— Я так и думала,— сказала Марина, осторожно освобождая свою руку.

— А ты живешь с бабушкой и дедушкой? — спросил Иван, чтобы сменить тему разговора.

— Да, с ними. Раньше я жила с родителями в другой квартире, а теперь ее сдали квартирантам.

— А где же твои родители? — осторожно спросил Иван, опасаясь, что с ними случилось что-то очень страшное.

— Они уехали в служебную командировку, в Африку,— ответила Марина.

— Как интересно! — проговорил Иван.— А ты почему не поехала вместе с ними?

— Им не разрешили взять меня с собой. Да и родители были против моей с ними поездки. Они сказали, что мне нужно поступать в институт и учиться,— вздохнула Марина.

— А ты бы хотела уехать вместе с ними?

— Не знаю?! — пожала плечами Марина.— Может быть они правы, что не взяли меня с собой, мне действительно нужно учиться и окончить университет,— ответила она.

Их диалог прервал подошедший Эдуард. Он был изрядно пьян.

— Не помешаю? — спросил он с сарказмом в голосе, наклонив перед Иваном и Мариной голову и сняв шляпу.

— Эдичка, ты опять начинаешь строить из себя дурачка? — спросила у него Марина. — Я тебя прошу, перестань, пожалуйста, клоуна из себя изображать, тебе это не к лицу. Сейчас не время и не место для твоего шутовства, да и вообще так себя вести в обществе малознакомого человека не прилично, — попросила она.

— Конечно, мне не к лицу строить из себя дурачка и не прилично так себя вести, — кивнул головой Эдуард и надел шляпу. — А тебе прилично в танце обжиматься, как ты говоришь, с малознакомым человеком? Тебе прилично смотреть на него влюбленными глазами? Прилично тебе ложить голову на грудь малознакомому человеку? Или может быть вы с ним уже не малознакомые? Может быть, вы уже успели познакомиться поближе? — стал задавать вопросы Эдуард. Он был зол. Смотрел на Марину и Ивана с нескрываемой ненавистью, глаза его горели, руки тряслись, в паузах между задаваемыми вопросами он скрипел зубами. Казалось, еще секунда, и он бросится в драку.

— Выбирай, пожалуйста, выражения, — жестко ответила ему Марина. Она тоже вспыхнула. Ее раскрасневшееся на свежем воздухе лицо вмиг покрылось белыми пятнами.

Эдуард замолчал. Он отвернулся от Марины и стал смотреть на воду. Все молчали. Иван чувствовал себя виноватым в произошедшей ссоре. Ему не хотелось быть камнем раздора между Эдуардом и Мариной. Ему было очень жаль Марину, а к Эдуарду он испытал еще большую неприязнь, и за оскорбление Марины готов был дать ему по физиономии, но он сдерживал свои эмоции. Хорошее настроение вмиг улетучилось. Так хорошо начавшаяся речная прогулка была окончательно испорчена. Остаток времени, за редким исключением, провели во власти всеобщего молчания. Около восьми часов вечера пароход причалил в Химках и, распрощавшись с друзьями, Марина и Иван направились домой. Всю дорогу в метро молчали. Марина испытывала два чувства — это чувство обиды, нанесенной ей Эдуардом, и чувство неловкости перед Иваном за испорченный вечер. Иван также испытывал чувство неловкости из-за того, что, как он считал, ссора между Эдуардом и Мариной произошла по его вине.

Он смотрел на молчавшую всю дорогу и отвернувшуюся к окну Марину и чувства жалости к этой девушке у него разрастались с каждой минутой. В темном окне вагона метро отражались огромные глаза Марины и, как показалось Ивану, в них стояли слезы.

— Долго вы гуляли, долго! Марина, ну разве так можно?! Мы с бабушкой уже начали волноваться! Ничего не случилось? А то ты какая-то взволнованная, — встретил их на пороге Василий Семенович.

— Все нормально, — нехотя ответила ему Марина и, сняв в прихожей верхнюю одежду, ушла в свою комнату. Плотно закрыла за собой дверь, после чего послышался характерный щелчок запираемого замка. Таким образом Марина всем дала понять, что ей необходимо побыть одной и чтобы это ее одиночество никто не нарушал. На ужин она не пришла, ответив через дверь Светлане Борисовне, что она не голодна и хочет лечь спать пораньше, так как неважно себя чувствует. В этот вечер Иван Марину так больше и не увидел, хотя ему очень хотелось с ней поговорить.

После ужина он с Василием Семеновичем смотрел телевизор, шел фильм «Свадьба Кречинского». Василию Семеновичу фильм нравился и он то и дело комментировал происходящее на экране, а Иван, наоборот, никак не мог понять смысла фильма из-за того, что его мысли постоянно были не у экрана телевизора, а там, за дверью, в той комнате, где сейчас, как ему казалось, уткнувшись в подушку, плакала Марина. В этот момент ему очень хотелось прижать ее к груди и утешить, как малое, неразумное дитя. После окончания фильма Ивану застелили постелью диван в той же комнате, где они с хозяином смотрели телевизор. Комната была большая и называ-

лась залом. У стены стоял сервант, в противоположном телевизору углу у окна стояло зеркальное трюмо, посредине комнаты круглый стол с несколькими стульями. У стены два кресла с деревянными подлокотниками и раскладной диван-кровать, на котором и лежал Иван. Стены комнаты были расписаны накатам, светло-зеленые рисунки которого уходили высоко вверх, под самый потолок, посредине которого красовалось круглое гипсовое панно и в центре завершалось висевшей хрустальной трехламповой люстрой. Дверь в комнату была прикрыта, а висевшие на окнах длинные, до самого пола, вишневого цвета шторы-портье были занавешены. Несмотря на плотные шторы, уличный свет все же пробивался в комнату, от которого, а может быть от неприятных воспоминаний о прогулке по Москва-реке, Иван долго не мог заснуть.

Рано утром его разбудили возбужденные голоса, доносившиеся из кухни.

— Она со мной поступила очень грубо! — говорил Василий Семенович. — Я подошел к плите, а она мне нахамила!

— Не кричи, говори тише, у нас посторонний человек, что он о нас подумает? — говорила Светлана Борисовна, успокаивая мужа.

— Пусть он слышит! Пусть он знает, какая она — эта наша внучка! А то изображает из себя цацу культурную, а сама — хамка! — не унимался Василий Семенович.

— Прощу тебя, Василий, успокойся! — вновь заговорила Светлана Борисовна. — Иначе у меня сейчас поднимется давление и я слягу! — попросила она.

— Пусть она собирается и уходит к себе на квартиру! Хватит с меня! Сколько можно?! Даже постороннего человека не постеснялась — скандал устроила! Воспитали внученьку!

— Ну что ты разошелся из-за пустяка? — вновь попыталась успокоить мужа Светлана Борисовна.

— Какой же это пустяк?! Я хотел поставить на плиту молоко, а она говорит мне: уходи отсюда, не вертись! Что я слышу от родной внучки?! — вновь воскликнул Василий Семенович. Голос его сорвался на визг.

— Не кричи! Еще раз говорю: не кричи! Я сейчас приготовлю тебе кашу, только ты не кричи! — тихим голосом произнесла Светлана Борисовна.

— Я тебя просил приготовить мне завтрак, а ты сказала, что плохо себя чувствуешь, вот я и хотел сам себе кашу сварить, — уже тише проговорил Василий Семенович, но голос его от перевозбуждения продолжал дрожать.

— Я сказала, что плохо себя чувствую, но это не значит, что я не смогу приготовить тебе кашу, — спокойно ответила ему жена.

— Господи! Прошла жизнь! Не жил, а мучился всю жизнь! — не унимался Василий Семенович. — Почему люди живут иначе? Почему у них хорошо воспитанные дети и внуки?! — задался он вопросом.

Иван лежал молча. Голос Василия Семеновича был плаксив, и Ивану казалось, что он плачет. Ему вдруг стало очень жаль Василия Семеновича. Он никогда не смог бы даже заподозрить в веселом и радушном хозяине глубоко несчастного человека. «Неужели несчастье ему приносит Марина? Вот уж никогда бы не подумал, что она может принести человеку не радость, а печаль, тем более человеку очень близкому?! А на вид она кажется очень доброй и культурной. Неужели так ловко может притворяться?!» — размышлял Иван. Он дождался, пока ссора стихла, и только после этого прошел в ванну. Завтракать он не стал, сославшись на нехватку времени.

На курсы повышения квалификации профессионального мастерства слушатели приехали со всего подмосковного угольного бассейна. Руководителем курсов был небольшого роста и полного телосложения с серыми глазами на круглом лице пятидесятилетний профессор Михеев Владимир Александрович, преподававший в инсти-

туте горную разработку и обнаружение в недрах земли угольных пластов. Он не стал читать лекции, а сразу раздал слушателям контрольные вопросы и чистые листы бумаги. «Хочу проверить ваши знания как практических работников»,— заявил он. Ивану досталось задание по механике на тему: «Подготовка к работе и методы эксплуатации горного оборудования», которую он помнил еще с момента своего обучения в горном техникуме, да и в повседневной работе Иван сталкивался с этим постоянно. Он начал отвечать на вопрос с проектирования, но нужные мысли в голову не шли. Он никак не мог забыть услышанную утром ссору, случайным свидетелем которой оказался. «Вся эта ссора произошла из-за меня. Если бы не я, то Марина не поссорилась бы с Эдуардом, и не произошла бы ее дальнейшая ссора с дедом,— размышлял Иван.— Зачем же она... как же она смогла... сорвать свою злость на близком ей человеке? Неужели я в ней ошибся, приняв ее, эгоистку, за порядочную, скромную и добрую девушку? Неужели они, эти московские девушки-студентки, все такие, как хамелеоны?! — задавался он вопросом.— Я во всем виноват,— я! Сегодня решу вопрос с местом в общежитии, а к ним больше не приду, и с Мариной встречаться не хочу! Пусть живет так, как жила до меня!»,— твердо решил Иван.

Вечером после занятий он вернулся в квартиру к Травкиным, дверь ему открыла Марина, она в квартире была одна.

— А где же твои дедушка с бабушкой? — спросил Иван, начав собирать свои вещи и укладывать их в чемодан.

— Они ушли по делам,— ответила Марина.— А ты это куда собираешься? — спросил она.

— В общежитие,— ответил Иван.

— Что так?

— Иногородным слушателям велено проживать в общежитии,— соврал Иван и, чтобы не встречаться с Мариной взглядом, отвернулся от нее.

— Основы советской журналистики,— прочитал он попавшийся ему на глаза лежавший на столе учебник.— Наверное, интересный предмет? — спросил он после недолгого молчания.

— Да, очень интересный, только мне это все ужасно надоело,— вымученно улыбнулась Марина.— Я утром поругалась с дедом, ты, наверное, все слышал? — спросила она.

— Нет, я не слышал. Я, наверное, в это время еще спал,— соврал Иван.

— У меня со вчерашнего вечера было плохое настроение, и я поругалась с дедом,— повторила Марина.

— Плохое настроение у тебя было из-за ссоры с Эдуардом, а причиной ссоры стал я,— произнес Иван.

— Ну, почему же ты? Ведь это я тебя пригласила на танец, а не ты меня.

— Я имею в виду общее положение. Если бы я к вам не приехал, то ссоры с Эдуардом не было бы, а значит и ссоры с дедом тоже не было бы,— начал рассуждать Иван.

— Не говори ерунды, ты тут совершенно не при чем. Мы с дедом ругаемся уже не первый раз, и до твоего приезда тоже ругались,— грустно проговорила Марина.— Я уйду жить в свою квартиру, предупрежу квартирантов, чтобы они подыскивали себе другое жилье, а сама перееду туда.

— И что ты этим добьешься?

— Хочу жить одна! Хорошо одной, что хочешь, то и делай, когда хочешь, тогда и приходи домой, и никто у тебя над душой стоять не будет!

— И это все? Ты считаешь, что в этом счастье и есть? А как к этому отнесутся твои родители? — стал задавать вопросы Иван.



— Не знаю, но жить я хочу одна,— вздохнула Марина.

— А ты думаешь, что одной будет жить легче?

— Думаю, что мне одной будет легче,— ответила Марина.— Или ты сомневаешься? Вот ты, самостоятельный человек, работаешь уже, скажи мне: сомневаешься или нет?

— В чем я сомневаюсь? — переспросил Иван, не поняв вопроса Марины.

— В том, что смогу ли я жить одна без деда с бабушкой или не смогу? — Марина смотрела на Ивана, ее глаза блестели.

— Ты хочешь услышать от меня правду или лесть? — спросил Иван, внимательно взглянув на Марину.

— Правду и только правду! — воскликнула она.

— А не обидишься? — спросил он.— Впрочем, мне теперь уже безразлично, обидишься ты на меня или нет?

— Не обижусь, говори! Только говори всю правду! — потребовала Марина, которая в этот момент Ивану показалась совершенно другой: жесткой, требовательной и властной. Она ему показалась в отличие от той Марины, которую он узнал с первых минут своего знакомства, совершенно другой девушкой.

— Ну, тогда слушай,— Иван вздохнул, собираясь с силами, чтобы высказать Марине все то, что он о ней стал думать с того момента, когда услышал ссору на кухне.— Куда тебе жить одной, когда ты в семье еще жить не научилась? Да, я слышал вашу с дедом ссору, я не спал, но я слышал только его слова, твои не слышал, ты, наверно, на тот момент уже вышла из кухни. Ты думаешь, что раз тебе на кухне никто мешать не будет, то у тебя все получится? Вот у вас в квартире чисто, все убрано по своим местам, на кухне тоже порядок. Это ведь бабушка твоя убирается, а не ты.

— Почему ты так решил? — спросила Марина.

— Потому что я вижу в твоей комнате беспорядок,— Иван без разрешения вошел в комнату Марины.— Видишь, кругом беспорядок, нет руки хозяйки. Смотри, все валом навалено. Кругом пыль и беспорядок. Вещи на стуле накинаны, книги разбросаны. Ты этого не замечаешь? Так у тебя и в квартире твоей будет, в которой ты одна жить собираешься. Жила бы ты в деревне, тебя бы за твое безделье бабы деревенские запозорили бы!— разгорячился Иван, но увидев покрасневшее лицо Марины, замолчал.

«В конце концов, кто я такой, чтобы делать ей замечание, какое имею на это право?» — вдруг подумал он.

— Ты прости меня, Марина, но ты сама попросила меня честно высказать тебе свое мнение,— виновато проговорил Иван.— Ну, ты сама посуди: дед твой на тебя сегодня утром ругался и справедливо ругался! Ему покушать никто не может приготовить. Бабушка заболела, а ты не можешь ему приготовить элементарной каши. Ты не обижайся на него, он ведь был голодный! Он же тебя воспитывает этими своими замечаниями, чтобы тебе в твоей дальнейшей жизни легче было бы жить. Вот ты поругалась с Эдуардом, а на деде сорвала злость. Разве так можно?! Ведь дед твой — это для тебя самый близкий человек! А о ссоре с Эдуардом не думай и не переживай. Пройдет немного времени, и вы с ним помиритесь и впереди у вас должна быть хорошая жизнь!

— Мы с ним больше никогда не помиримся! — тихим голосом произнесла Марина.

— Почему же не помиритесь?! Обязательно помиритесь! Ты только верь в это! — возразил Иван сомнениям Марины.— Когда веришь в хорошее, то и на душе становится хорошо и радостно.

— А я не хочу с ним мириться!

— А вот это ты неправильно решила. С Эдуардом в ссоре, с дедом в ссоре, так жить нельзя!

Марина, слушая Ивана, смотрела на него каким-то колочим, пронизывающим его насквозь взглядом. Лицо ее, шея и уши пылали багрянцем.

— Ты уходишь от нас? — спросила она.

— Да, ухожу, — ответил Иван.

— Почему? Тебе у нас не понравилось или мы тебя чем-нибудь обидели?

— Нет, ничем вы меня не обидели и мне у вас очень понравилось.

— А почему же ты тогда уходишь?

— Всем слушателям курсов велено проживать в институтском общежитии, — вновь соврал Иван.

— Тогда может быть пойдем по Москве погуляем? Вот сейчас, соберемся и пойдем? — несмело предложила она.

— Сегодня не могу, много задали заданий к завтрашним занятиям.

— А завтра? Завтра вечером ты будешь свободным?

— Завтра я тоже не смогу, мне завтра нужно быть...

— Поцелуй меня! — неожиданно проговорила Марина.

Эта просьба Марины для Ивана прозвучала так неожиданно, что он осекся на полуслове. Он взглянул на Марину. Ее глаза блестели, лицо было красным, губы дрожали.

— Поцелуй меня! — вновь повторила она.

Ивану не нужно было повторять дважды. Он и сам уже давно ощущал непреодолимое желание обнять Марину, а потому, услышав от нее эту просьбу, нежно, словно боясь раздавить, взял ее за руки и прижал к себе. Теплота ее губ вскружила ему голову, громкими барабанами застучала в груди, дрожью прошла по всему телу, затуманила разум. Марина закрыла глаза и, словно раненая птица, издала звук, похожий на стон. В тот же миг ослабла и стала податливой, и наверняка упала бы на пол, но Иван удержал ее, крепко прижав к себе...

Неожиданно откуда-то из-за леса налетел шквальный ветер. С жадностью подхватил на вершине террикона пригоршню породы и, перемолов ее в серую снежную пыль, понес по окрестностям Шахтерска, обжигая своим горячим вихрем обнаженные тела полей, лесов и оврагов, а наигравшись вдоволь и нагулявшись, побежал далеко на север в сторону Москвы. Добежав, обессиленный смягчил свой нор, превратившись в тихий и спокойный небольшой весенний ветерок, и обласкав московские парки и скверы, растворился на белокаменных столичных улицах, напоследок оросив их духом далекого, но в одночасье ставшего родным и близким города Шахтерска.



**Андрей Иванов**  
(г. Новосибирск)



## ОДИНОКОЕ СЕРДЦЕ СТУЧИТ

*Литературный псевдоним — АВИ. Родился в 1963 году в городе Чехов на западном побережье острова Сахалин; в десятилетнем возрасте переехал в город Новосибирск. После радиотехникума, служил в Советской Армии, затем учился на филологическом факультете Томского Государственного университета им. Куйбышева. Окончив школу машинистов, более десяти лет работал на железной дороге начальником поезда. В 1990—1993 гг. учился в Томской духовной семинарии.*

*Публиковался в газете «Красная звезда», журналах «Советский воин», «Новатор», в томской и новосибирской прессе, в коллективных сборниках. В 2016—2017 гг. издано пять книг прозы. Член Российского союза писателей.*

Когда мне было всего-то двенадцать годков, судьба забросила меня в казахстанский городок Приозерск — чтобы я прожил там парочку юных счастливых лет. Жили мы с матушкой в гостинице, в маленькой комнатке для командированных специалистов советской «оборонки». Городок военный, в основном его населяли офицерские семьи. Ну, было еще немного гражданских специалистов. Плюс продавцы, медики, учителя...

Выйдешь за пределы города — и сразу перед тобой простирается пустыня-степь. Глина, высохшая кусками, вся в трещинах от палящего солнца. Перекати-поле шарями по ветру носится, скорпионы и змеи ползают, редкие казахстанские дикие тюльпаны алеют. А рядом — огромное озеро Балхаш, наполовину соленое, наполовину пресное.

Наш городок стоял, где пресноводье. Там я купался летом с одноклассниками, а зимой мы и на коньках по озеру катались, и в хоккей играли. И на рыбалку мы туда круглый год ходили. Мороз в январе хоть и не крепкий, но лед на озере мощный, толстый. И настолько прозрачный, — прямо чистое стекло, слегка зеленоватое.

Однажды, в выходной, собрал я зимние удочки, маленькую скамеечку прихватил с собой, взял бур для сверления ледяной лунки, бутербродики и термос с чаем. И отправился на рыбалку. Идти до озера совсем недалеко. Всего-то километра полтора от нашего дома.

Пришел на берег, дальше топаю по прозрачному льду. Метров на сто от берега отошел. Иду — и все под ноги себе смотрю. А во льду и подо льдом — царство волшебное, сказочное. То рыбина вмерзла в лед на глубине, то водоросли так изящно расположились, словно на картине фантастической. Красотища!

Вдруг вижу внизу большую тушу сайгака — это такой дикий козел местный. Морда во льду торчит прямо подо мной. Глаза зверя открыты, и смотрит, как живой. Видимо, утонул бедолага. Да так и остался в застывшей воде, словно на витрине.

Постоял я, поудивлялся — и потопал лунку для рыбалки сверлить.

Пока крутил коловоротом дырку во льду, не только согрелся, но и вспотел весь. С полчаса крутил. Лед-то, наверное, сантиметров тридцать, или больше. Не помню уж теперь.

Ну, наконец, добрался до воды, уселся на табуреточку свою. Похлебал горячего чаю, начал снасти настраивать.

Сижу, дергаю плавными рывками леску, жду поклевки. Вокруг тишина; куда ни глянь — ровная гладь льда. Только вдалеке дымок от труб городка поднимается. Солнца нет, ветра нет, белое безмолвие и покой.

И в голове у меня никаких мыслей нет. Ну, совсем никаких. Тишина в голове, полное слияние с природой. Признаться, в своих походах на рыбалку я это состояние даже больше люблю, чем рыбу вытаскивать.

Но вот и первая поклевка...

Первым мне попался судачок. Приятно хищника тащить: сопротивляется рыбина, упирается, дергается из стороны в сторону. Нужно плавно ее вести, иначе сорвется — и поминай, как звали.

Вот и морда рыба — глазастая, недовольная — показалась в лунке. Цепляю судака стальным крючком за жабры, он мой. Осторожно, стараясь не причинить рыбе лишней боли, освобождаю пасть от крючка, кладу добычу на лед, рядом с собой. Хищник изгибается, будто ежится от мороза, несколько раз дергается, хватается жабрами воздух — и замирает. Уснул первоходок.

Опускаю леску в лунку. Опять кружка чая пошла в ход, опять жду. Как можно словами рассказать о радости рыбака? Как передать трепет ожидания и азарт, надежду и восторг охотника? Тишина природы, покой и — одновременно — знание, что в озере подо мной кипит жизнь. Это только на поверхности царит белое безмолвие льда, а в глубине кипит невидимая мне жизнь. Та, что движется по своим природным вечным законам. И так чудесно это осознать...

Опять поклевка. Пальцы чувствуют дрожание живого существа на другом конце лески. Подергивания — сначала скромные, осторожные, слабые, а затем резкие, настырные. Рыба попалась и пытается сорваться с крючка.

Тяну. И шепчу вслух, сам себе: кто же там, кто?

Тящу рыбину к себе, а она тянет к себе. Если сорвется, — значит, она победила, вырвалась, спаслась. Даю добыче слабину, слегка приотпускаю леску, затем подсекаю — и тяну снова.

Ну, вот и он. Еще один судачок, побольше первого. Глядит на меня не мигая — видно, еще не понял, что попался. Пряткий парнишка, однако. На лед его: пусть отдохнет и уснет.

Удача и азарт рожают аппетит. Достают бутерброды. Какими же вкусными они кажутся на природе — гораздо вкусней, чем дома! Чай парит на морозе, кружка согревает озябшие руки. Все время поглядываю на пойманных судачков, с гордостью люблюсь уловом. Господин Балхаш сегодня не скупится!

Но рановато я сделал такой вывод. Полчаса. Час. Полтора. Ни единой поклевки! Некоторые рыбаки в этом случае меняют место. Пробуют бурить новые лунки, перемещаются по льду. Я же просто сижу и жду.

Однако подмораживает. Мои судачки уснули на морозе, окаменели, превратились в ледяные поленья. Этак скоро и я начну подмерзать...

Но леска в моих пальцах вдруг начинает скользить вниз. Притормаживаю ее движение, прислушиваюсь. Ни рывков, ни дерганий нет. Но вот опять пошла леска вниз. Ослабла. Провисла. Кто же там, на крючке?

Резкий рывок сгибает короткое удилище. Я припускаю, даю рыбе заглотить наживку поглубже. Теперь — подсечка. Есть!

Тяну. Идет плавно, но тяжело: судя по всему, на крючке — кое-что посолидней моих первых судачков. Только бы снасть не порвалась!

Тящу добычу все уверенней. Вот-вот должна показаться в лунке и морда попавшейся живности.

Оппа! Голова рыбины появляется над поверхностью. Да это сазан! И такой громадный! Здорово, дружище семейства карповых!

Он смотрит на меня и словно ухмыляется — поймать-то ты меня поймал, а попробуй-ка, достань!

А вот достать то и непросто. Экземпляр не маленький, а моя лунка — размером с нынешний CD-диск. Кажется даже, что сазанья морда — больше лунки. Как же вытащить добычу из воды?

С двух сторон осторожно провожу крючки из жесткой стальной проволоки. Завожу их сазану за жабры и тяну вверх. Рыба безмолвно шевелит губами: видно, материт меня последними словами. Пускает пузыри из слизи — не иначе, хочет плюнуть мне в лицо.

Туго продвигаясь, шкрябая жабрами, плавниками и всем своим жирным брюхом по стенкам лунки, упругое тело сазана все-таки медленно ползет вверх. Уф, достал я его, наконец-то. Вот он, красавец!

Большая, изящная рыба, покрытая крупной, отливающей серебром и золотом чешуей, жадно хватает мощными жабрами морозный воздух, раздраженно шлепает мокрым хвостом. Что ж, на сегодня хватит. Нам с мамой больше и не надо. Раза на три хватит поужинать свежей рыбкой.

По времени порыбачил я около четырех часов. Сворачиваю снасти. Два полена мороженых судаков и притихший сазан уходят в рюкзак. Беру табуретку в руки. Меня ждет обратная дорога.

В гостинице у нас на этаже была общая кухня. Пара алюминиевых столов, пара электрических плит, несколько домофонов. Когда кто-то готовит нечто ароматное и пахучее, об этом знает весь этаж.

И вот, мама сегодня на ужин собралась жарить рыбку. Пойманную мной! Я доволен собой, горд, издали наблюдаю, как матушка чистит улов. Судаков чистить сложновато: чешуя у них помельче, чем у сазана, и прилегает к телу покрепче.

Но самое главное: пока мама моет моих рыбок под краном с холодной водой, они... оживают. А этим рыбкам палец в рот не клади, зубы у них — что бритва. Цапнут — мало не покажется, заживать рана будет долго.

«Вот это да,— думаю я, глядя на свою добычу.— Как эти замерзшие рыбные поленья могли ожить? И теперь снова пытаются дышать жабрами, шлепают хвостами, пускают пузыри из пастей... Непонятно. Чудо природы!»

Но это еще не все. Когда мама, выпотрошив внутренности у ожившего сазана, отрезает ему голову и кладет кусочки рыбины на сковороду, я нахожу на столе еще живое сердце сазана. Откладываю его в сторонку, мочу теплой водой... Оно бьется!

Вот оно, чудо жизни! Мы уже закончили ужинать кусочками рыбы с золотистой поджаренной корочкой и несем посуду на кухню, чтобы вымыть. А сердце еще бьется!

Именно бьется. Размеренно, правильно, четко соблюдая ритм. Оно не в агонии и не в конвульсивных судорогах. Ведет себя так, словно еще находится в теле живого существа. Сама рыбина уже давно пожарена, вся съедена, а ее сердце бьется, как ни в чем ни бывало...

Не знаю, сколько часов оно бы еще работало. Но пришли соседи и вытерли стол насухо, убрав с него весь мусор.

Я еще в детстве где-то читал, что сигналы, задающие ритм сердцу, поступают из мозга. Так как же сердце может одиноко биться вне тела?

Как могли ожить, воскреснуть рыбы, замерзшие пять часов назад на льду? Как оживают после долгой зимы в промерзшей до дна реке караси? Закапываются в песок и ил? Но ведь мои-то судаки и сазан никуда не закапывались. Они задубели, одеревенели, умерли на льду — и вновь воскресли в воде, в раковине нашего умывальника.

Кто управляет всеми этими воскрешениями, кто владеет жизнью этого, одиноко лежащего на столе, бьющегося сердца?

С той поры минуло более сорока лет. Но и сейчас я не перестаю думать об этом. Как устроен наш живой мир? Как, по какой программе оживают весной деревья и травы? Как, по какой программе одни люди встречают своих единственных и любимых, а другие их теряют?

Одно я знаю точно. Этот мир придуман не людьми. Мы лишь пользуемся придумками Создателя, Творца. Пользуемся, все больше становясь одинокими, бьющимися в безмолвии сердцами. Как то рыбе сердце из моего детства, одиноко умирающее сердце сазана на алюминиевом столе.



**Яков Шафран**  
(г. Тула)



## СБОЙ КОМПЬЮТЕРА

Ничто не предвещало неприятности. Все шло своим чередом. Артур, будучи Председателем Совета директоров корпорации, выступил первым и, как делал это уже десяток лет, подробно доложил о положении вещей: внутренняя и внешняя политика, инновации, годовой доход, затраты, зарплаты, налоги, чистая прибыль, благотворительность и пр., подробно останавливаясь на каждом пункте,— все, что ему подготовили главбух и главный экономист. Члены Совета внимательно слушали, не перебивая, кто-то даже записывал. В общем, все было как всегда.

Когда он закончил, немного обсудили услышанное, затем поднялся исполнительный директор, и собрание приступило к выборам Председателя и членов Совета. Артур расслабился, свободно развалившись в кресле, нимало не сомнясь в результатах голосования по поводу своей персоны. Кое-кого переизбрали. И только тут он заметил, что за широким столом присутствует ряд новых людей. Когда же поставили на голосование его кандидатуру... и не избрали! — Артур вначале воспринял это как шутку, но, убедившись в серьезности произошедшего — теперь он не только не Председатель, но и вовсе не член Совета! — он, по протоколу стоящий перед голосующими, зашатался и буквально упал в кресло. Его, «старого кадра», и еще нескольких таких же «прокатили», а вместо них — этих молокососов из новой волны!.. Он задохнулся от обиды и негодования, и все тело, казалось, превратилось в гулко бьющееся сердце.

Обливаясь холодным потом и дрожа, Артур проснулся.

— Будете умываться? Душ или ванну? — спросил Дом.

— Душ,— по привычке, но с заметным волнением, еще не отойдя от сна, ответил Артур.

После душевой, также уточнив все в деталях, он съел горячий завтрак. Благодаря обычным утренним занятиям Артур несколько успокоился после панической атаки во сне. Включив транслятор, он убедился, что показатели Фирмы, за которые он отвечал, были в норме, но для порядка — скорее внутреннего — он все же вызвал в 7D-пространство того же транслятора (с сохранением всех параметров обычного межчеловеческого общения, в том числе запахов и тактильных ощущений, плюс индикатор детектора лжи) исполнителей, которые отчитались каждый по своему направлению. Все было хорошо.

Когда Дом, испросив ответы на все свои вопросы умолк, а транслятор, попросив разрешения перейти в спящий режим, отключился, Артур вышел на балкон. Воздух был чист и свеж. На небе курчавились белые облака, между которыми проступала бездонная синева. Солнце зашло за облако, и все краски стали более густыми и глубокими. Город простирался перед Артуром, теряясь в дальней дымке у горизонта.

Улицы его были пусты — люди уже давно общались с помощью трансляторов и перемещались посредством телепортации, а роботы, в том числе и дома горожан, получали все необходимое для жизнеобеспечения людей и себя теми же путями, но по своим, отведенным только для них, техническим каналам. Животных — давних сожителей людей: кошек и собак — также уже давно не наблюдалось: домашние жили под покровительством роботов, а с бродячими было покончено. Но все же во дворах, или на территориях, что под ними подразумевались, было заметно движение.

Артур хорошо знал, что это за движение, но с годами не переставал улыбаться, наблюдая его. Дело в том, что продолжительность жизни увеличилась до 120 лет и до наступления пенсионного возраста, который подняли с 80-ти до 100 лет, и благодаря введенным параллельно с этим запретам на тунеядство — дабы избежать деградации и не портить демографические показатели, — и на иные, кроме аналитических и творческих, профессии, все должны были трудиться. Уклонение грозило ограничением диапазона и дальности работы трансляторов и телепортаторов, вплоть до полного запрета ими пользоваться, для злостных же уклонистов было предусмотрено заточение в Пространство Тьмы и Молчания, которое редко кто мог выдержать без нарушения психики. Среди таких «заточенцев», как и во все времена, находились особо изобретательные и авантюрные единицы, устраивавшие побег с захватом чужого телепортатора, и даже с изменением личного идентификационного номера, но еще меньшему их количеству удавалось избежать поимки и аннигиляции. Вот... А где работать этим бедолагам, «допенсионщикам», не имеющим творческих способностей, если, несмотря на сильнейшее ограничение рождаемости и полную, как писали древние, компьютеризацию, а сейчас — роботизацию, места аналитиков всех уровней — единственное, кроме творчества, что еще оставалось в ведении людей, так как страх доверять и это искусственному разуму еще довлел над человечеством, — были ограничены по количеству и полностью заняты? И придумала одна умная голова, вооруженная конечно подключением к Мегакomпьютеру, занять их очищением — как прямым, чисто физическим, так и полным по всем параметрам — выделенного каждому для этих целей пространства. Посему и «мели» они теперь каждый свои десять квадратных метров — по-старинному «сотку» — квадратно-гнездовым способом с помощью полуроботов, уничтожавших как пыль и мусор, так и всех мелких и крупных «пришельцев» разных планов и уровней, незаконно, по-контрабандистски проникающих в наше пространство...

Полюбовавшись на стройные ряды «дворников», Артур вернулся в комнату. И вовремя — замигал сигнал телепортатора, предупреждая о посещении. На экране засветилось фото его подруги, Аделии. Он ответил, прикоснувшись к сенсору — «Да, я на месте», — и сел в кресло в ожидании визита. Это Артур хорошо сделал, ибо «то», что он увидел, неминуемо обрушило бы его «оземь», как говорилось в 7D-книге, которую он просматривал вчера вечером.

В комнате появилось чудовище — с фиолетовой кожей, оранжевыми всклокоченными волосами и уродливыми формами незнакомая женщина, черты лица которой лишь едва напоминали его Аделию.

— Что с тобой? — спросил Артур, не решаясь сказать «дорогая».

— А что?

— Да ты посмотри на себя!

Аделия вытащила из сумочки свой телепортатор и включила зеркало. Реакция не замедлила себя ждать. Артуру, правда, испытывая брезгливость, пришлось восстановить вертикальное положение своей посетительницы. Та еще раз, будто не доверяя себе, взглянула в зеркало и, быстро нажав на кнопку «Возвращение по исходному адресу», плача, исчезла в пространстве.



«Что это было? — подумал Артур и вспомнил:— Вчера в информационном блоке передавали что-то по поводу наказания людей за деторождение не только большими налогами (как было до того), но и изменением внешности... Так вот оно что? Но ведь у Аделии нет детей?! Не могла же она за одну ночь стать матерью, когда и следа беременности еще вчера не было...»

Он включил транслятор, нашел в архиве интересующую его информацию и прочитал, что женщины и мужчины, допустившие в нарушение закона рождение одного ребенка, при телепортации будут навечно иметь сиреневый цвет кожи, допустившие появление на свет двоих — фиолетовый, соответственно, троих — плюс к фиолетовой коже еще и оранжевые волосы, а четверых — к этому всему еще и уродливые формы тела... «Хорошо еще, что только при телепортации! — подумал Артур.— Мы не в браке, поэтому меня это не коснулось... Но ведь это чудовищная ошибка! Нужно срочно заявить об этом!» — решил он и нашел адрес Агентства по контролю численности населения.

— Менеджер Агентства... слушает вас,— раздался голос робота и вслед за этим в 7D-пространстве появился и он сам, в причитающемся этикету человеческом виде и строгом черном костюме при галстуке.

Артур коротко, но эмоционально, объяснил тому все.

— Не волнуйтесь, мы разберемся,— заученной фразой сказал менеджер и добавил: — Но, вообще-то, у нас ошибок не бывает...

— Не бывает?! — взъярился Артур.— А ну-ка, соедини меня с аналитиком!

Для робота, если у них присутствует, а судя по его реакции — да, это было то же, что для человека — оскорбление. Его глаза как-то заискрились, а руки стали совершать нелогичные движения. Ослушаться приказа или быть невнимательным к просьбе человека он не мог, но в программе его — Артур это знал — была заложена дискуссионная подпрограмма, которая давала ему возможность определенное время убеждать человека. Однако этот робот-менеджер почему-то не решился воспользоваться ею,— наверное, Артур произвел на него неизгладимое впечатление,— и тут же связался с дежурным аналитиком Агентства. Тот являться пред светлые очи жалобщика не стал — все-таки дежурный,— а просто нарисовался на экране.

Артур уже менее эмоционально изложил ему положение дел, назвал свое и Аделии имена и идентификационные номера, и аналитик минуту поковырялся в анналах памяти Суперкомпьютера.

— Да, вы правы, это ошибка.

— Вот видите!

— К сожалению, произошел сбой Компьютера...

— Мг... И это все? Мы требуем морального удовлетворения!

— Моральная компенсация вам будет предоставлена,— сказал аналитик и отключился.

— Ну что, дорогуша? — с усмешкой обратился Артур к роботу.

— Извините... Вам уже все объяснили...— и повернулся, как бы уходя, одновременно нажимая на кнопку возврата.

Артур отметил про себя, что спина его выражала недовольство.

«Ишь, уже тонко чувствовать научились! — Обиделся...» — подумал он.

Однако нужно было перемещаться на службу, в квартальный департамент ТЧК-27-3-170 Центра исполнения бытовых желаний, где Артур работал, опять же, аналитиком, и он, отдав необходимые инструкции Дому, нажал на кнопку телепортатора. Обычно перемещение происходило мгновенно, ибо в информационных полях, как известно, нет ни инерции, ни потери энергии. Но на сей раз случилось невероятное...

Сильный толчок — и Артур обнаружил себя сидящим на лужайке в совершенно незнакомом ему месте. Ярко зеленела трава, кое-где были видны мелкие желтые цветы. Напротив его растерянно вертел головой незнакомый ему человек. Вернее, человеком его можно было назвать лишь с большой натяжкой, так как это был хорошо известный по новостным лентам тип, именуемый жителем подземелья или андеграунда. Ушедшие из общества, нигде не работающие и, соответственно, лишенные жилплощади и всех социальных возможностей, прозябали они, — хотя так говорить было бы неверным, ибо шли на это добровольно и, при этом, испытывали, наверное, некое удовольствие, — в канализационных тоннелях, подвалах и прочих соответственных местах. Полицейские службы их отлавливали, но выжить полностью не могли, так как те кочевали по ночам, никогда не оставаясь на одном и том же месте, не желая попадать в исправительные заведения, где злостно неисправимых просто напросто аннигилировали.

Однако, что интересно, у «нового знакомого» Артура был телепортатор, правда старой модификации, весь обшарпанный, может быть, и разбитый, но мигающий зеленым светодиодом, что говорило о подключении его к городскому Суперкомпьютеру. По всей видимости, произошло столкновение Артура с этим типом в информационном пространстве, что было практически невероятным из-за сверхнадежности Компа. По крайней мере, наш аналитик о таких вещах и слухом не слыхивал.

А тип был еще тот: грязная и оборванная одежда, обросший и небритый, вонь от давно немывтого тела все более и более «озонировала» пространство. Он растерянно хлопал глазами и воровато озирался по сторонам, видимо, опасаясь полицейских роботов. Но уходить ему было нельзя, так как по идентификационному номеру прибора — а они у обоих, ввиду катастрофы, уже были зафиксированы в памяти Компьютера, — роботы могли его перехватить при следующем перемещении и по закону моментально «заточить», как говорится, без суда и следствия.

— Как вы можете пользоваться таким телепортатором? Сколько раз уже сталкивались? — возмутился Артур.

— Да, не-е-е-а, — протянул тип. — Он работает, три года пользуюсь, как нашел, — наш «умник» помог узнать пароль бывшего хозяина, обновить его и даже засекретить... и ничего...

На лужайке «нарисовался» мужчина, судя по форме — аналитик телепортационной службы. Он, не говоря ни слова, взял приборы у Артура и, брезгливо надев перчатки, у «типа», подключил их к чему-то у себя и удивленно хмыкнул:

— Исправны! Значит, не ваша вина. Давненько таких случаев не было...

— А кто же виноват? — спросил Артур.

— Если бы даже по каким-то неведомым, но исключительно маловероятным причинам вдруг произошло мгновенное искривление пространства, то Суперкомп также мгновенно все бы поправил. Значит...

— Что значит?

— Значит... — служащий явно тянул с ответом. — Значит, это Его ошибка...

— Вот это да... — присвистнул Артур. «А если Он еще как-нибудь ошибется, и еще — да не в таком пустяковом случае, как у нас с «типом», а в деле похлеще?» — подумал он и поежился.

Аналитик — есть еще люди! — не стал сообщать в полицию насчет «типа», помог «столкнувшимся» разлететься каждому по его адресу, и через мгновение Артур оказался у себя в департаменте. Поделав накопившуюся работу, он связался с Аделией.

Служащие Агентства по контролю численности населения помогли ей — внешность при перемещениях, права и социальные льготы вернулись, но на душе остался

неприятный осадок и страх повторения произошедшего. Однако присущее Аделии чувство юмора возобладало:

— Хочешь посмеяться? — спросила она.

— Ну?

— Я ведь от тебя домой не сразу попала,— похохатывая начала она.— Занесло меня к незнакомому мужчине...

— Да-а? — шутя и уже ничему не удивляясь, произнес Артур.

— Ты ничего такого не подумай... Но лучше сядь, а то упадешь со смеху.

Артур сел, и Аделия продолжила:

— Залетаю я, значит, а он сидит и... представляешь,— мастурбирует перед трансляционным фото! Взглянул на меня, и от одного моего вида вмиг потерял и то подобие потенции, что у него было!

— Ха-ха-ха! — закатился Артур, и Аделия его активно в этом поддержала. Они так смеялись, взаимно передавая друг другу смех, как мяч, что все закружилось, завертелось, запрыгало у Артура перед глазами...

И он проснулся...

Артур протер глаза, не сразу соображая, как это часто бывает после сна с активными сновидениями, где он находится и что с ним. Но, посмотрев в боковое стекло, он сразу понял, что по-прежнему стоит в глухой пробке. Часы показывали 10 минут, как он попал в нее.

«Это же надо, сколько приснилось всего-то за считанные минуты! И интересно — приснилось, что я проснулся, а фактически сон продолжался, только в другой плоскости!» — подумал Артур.

А вокруг и вдаль — куда доставал взор,— были машины, машины и машины, всевозможных марок и габаритов. Он открыл окно, и тут же воздух с выхлопными газами наполнил салон. Но Артур с удовольствием вдохнул эту смесь. «Господи, слава Тебе, что я живу сейчас! — мысленно взмолился он, хотя и на йоту не был верующим.— Пусть пробки, пусть воздух, пусть все там черт знает что еще, но, главное, управлять и авто, и собой, и всем-всем в своем быту могу я *сам*, а не какая-то — хоть и супер организованная, с высоким, намного превосходящим человеческий, интеллектом,— однако все же машина! Боже, как я мог проклинать, стоя в пробках, наше время и мечтать о «светлом будущем»?!. Ну и что — пробка? Ведь в это время можно побриться, сварить кофе — он недавно установил в авто кофеварку, последнее слово прогресса (не перед сном будь он помянут!),— посмотреть фильм, посидеть в Интернете, поработать... с ноутбуком (хотел подумать: «на компьютере», но осекся)... Счастливое время — у людей есть дети, работай, кем хочешь, — и никому за это ничего не бывает! Рай, а не время!»



**Михаил Белозеров**  
(г. Донецк, ДНР)



**НА ВЫСОТЕ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА**  
(глава из романа)

*Писатель, по литературному дару — стилист. Родился в 1953 году 10 ноября в г. Омске, в семье военного врача. Детство прошло на Кольском полуострове. По образованию инженер-системотехник. Работал в издательстве «Сталкер» редактором направления русская литература. На настоящий момент «на бумаге» издано 12 романов и два десятка рассказов. Жанр романов от фантастики, сюрреализма до реализма. Издавался в следующих издательствах: «ЭКСМО», «Яуза», «Крылов», «Сталкер», «Шико», «Остеон-пресс», а также в различных журналах: «Знание-сила», «Донбасс», «Брега Тавриды», «Реальность фантастики», «Порог».*

*Под псевдонимом Михаил Джимов издавался в «АСТ» как автор кинологической литературы.*

***Нашему большому другу —  
Ларисе Синичкиной.***

*Он мертв. Его никто не знает.  
Но мы еще на полпути,  
И слава мертвых окрыляет  
Тех, кто решил вперед идти.*

Константин Симонов

**Глава 1**  
**ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ**

В январе шестнадцатого я выполз, прихрамывая, на высокую балюстраду реабилитационного центра ГБУ, что на «Достоевской», с осколком в легких, с флешкой нового романа в кармане и с абсолютной уверенностью, что теперь-то мне конец — не может судьба так долго благоволить одному человеку.

Мои бесконечно верные Репины стоически ждали меня внизу, и я махнул им аптечной палкой, демонстрируя, что моя левая уже работает и что я уже способен на геройский поступок, то бишь проскакать на одной ножке по запорошенной снегом лестнице и не переломать себе кости окончательно и бесповоротно.

Я с опаской вдохнул морозный воздух, с недоверием посмотрел на бледно-голубое небо в росчерках перистых облаков и, хотя это было кошунством к прошлому, ощутил счастливое головокружение, после чего долго откашливался. Сказались

полдюжины операций и полугодичное пребывание в закрытых помещениях. Потом я храбро пересчитал все пятьдесят три ступени, делая на каждой полуминутную остановку, чтобы отдышаться, и, наконец, очутился внизу. Сердце мое бешено колотилось, в голове трубил небесный хор, а ноги предательски подкашивались.

— Ну как... рыба?..— вызывающе бодро поинтересовался Валентин Репин, изучая мое лицо, по которому катился пот слабости, но обниматься не полез, а сочувственно ткнул растопыренную пятерню, демонстрируя опасение сломать мне запястье своим рукопожатием альпиниста.

Видно, я был совсем плох. Да и то правда, при росте метр девяносто пять я весил не больше пятидесяти шести килограммов, и меня спокойно могло унести порывом ветра.

— Что?..— переспросил я из-за давней контузии, полученной под Саур-Могилой.— А-а-а... — однако, по его лицу сообразил, о чем он.— Вроде ничего.— И не узнал своего голоса, потому что отвык его слышать вне помещения: был он глухим и трубным, как глас архангела, хотя и с камушками в осадке, и в этом качестве отражал мое нынешнее душевное состояние кризиса духа, ведь часто смысл происходящего заключается только в контрасте.

— Мишаня, тут Жанна Брынская тебе кое-что подарить хочет...

Именно с таким грудным прононсом он всегда отзывался о своей жене, почти как о намоленной иконе: «Моя Жанна Брынская!»; и я давно принял их на веру, то бишь перестал удивляться.

Его красавица-жена, этническая полька, с лицом, усыпанным солнечными веснушками, радостно привстала на цыпочки; совсем близко, сверху вниз, я увидел прекрасный карий глаз; и осторожно чмокнула меня куда-то в челюсть, куда дотянулась, а потом величественно, как и все ее манеры, развернула просто-таки огромный мохеровый свитер, потому что я был одет в то, в чем меня доставил спецборт: в старую, заштопанную куртку-ветровку и брюки. В четырнадцатом, в разгар боев в донецком аэропорту, Валентин Репин экипировал пять человек, в том числе и меня, армейской формой. Жаль, что я не оправдал его доверия. Война в Донбассе — это испытание совести народа, и он прекрасно его выдержал.

Я оставил постылое больничное одеяло, в котором выполз, на лавочке для медсестры Верочки Пичугиной, которая с безнадежно-тихой грустью провожала меня взглядом с балюстрады, натянул этот необычайно теплый свитер, пахнущий домом, и впервые за шесть месяцев невольно засмеялся, отметив краем сознания, во-первых, сам факт предательского смеха, а во-вторых, и еще то немаловажное, что человеку, в общем-то, не так уж много надо — всего лишь любви и участия.

— Все! Поехали, поехали! А то замерзнем,— необычайно деликатно выразился Валентин Репин, обращаясь больше с упреком к любимой жене, нежели ко мне, и мы, погрузившись в машину, осторожно повезли мое измученное тело по рождественской Москве в Королево. Прощай, реабилитационный центр, выглянул я в окно, единственно пожалев, что так и не поцеловал на прощание Верочку Пичугину, которая, кажется, была в меня тихо влюблена и, если втыкала иглу в вену, то с крайней деликатностью и с чрезвычайной нежностью, а уж ватку прикладывала — одно удовольствие.

Москва была вся в праздниках и блистала новогодним убранством. Там, в окопах, мы молились на эту Москву, пусть сыто-барскую, пусть насмешливую, пусть равнодушную, не признающую нас ни под каким соусом, но все равно нашу Москву, вечную Москву, настоящую Москву, преданную Москву, представляя ее чем-то единственно ценным в этом мире, дальше которой отступать было некуда — даже когда мокли под дождями, даже когда тряслись и глохли под обстрелами, даже когда

не спали, не ели сутками, умирали на госпитальных койках или в лапах врага. Человек обязательно должен во что-то верить. И я верил, и мои товарищи по оружию тоже верили, иначе напрасно гибнуть не имело никого смысла, а надо было сдаться на милость укрофашистам, разбежаться по степям и дубравам и выть от бессилия на луну и звезды.

Мне было тридцать семь, я был одинок и гол как сокол, мою жену Наташу и мою дочь Варю убила мина в июле позапрошлого года (я просто знал, что так нужно думать, иначе можно было сойти с ума), в мою квартиру на Университетской влетел снаряд, и возвращаться в Донецк было некуда. Редакция на Киевском проспекте, в которой я служил, выгорела дотла, и боец из меня теперь был аховый, как сказал главврач Сударенко: «До первой же пробежки, осколок шевельнется, перережет легочную артерию, и в три секунды истечешь кровью». Я видел на снимке этот осколок, величиной с пять рублей, с рваными краями, как шестеренка у часов, и чужеродный человеческой плоти по сути. Мне предстояла по поводу этого еще одна операция, но вначале надо было восстановить силы, потраченные войной, однообразным питанием, а главное — нервами.

— Коньячок, надеюсь, тебе можно? — обернулся Валентин Репин с двусмысленной ухмылкой вечного фигляра.

Я обожал его за эту улыбку, которая говорила, что по версии Валентина Репина в мире все прочно и незыблемо, как небесный свод, и будет так до скончания веков, и после — тоже. Конечно, Репины не знали всей правды; правда заключалась в том, что человек во второй половине жизни рано или поздно попадает в ловушку под названием безысходность со всеми вытекающими для души последствиями. Со мной это произошло раньше, чем с ними. Однако я не спешил их разочаровывать, пусть они дозреют, как хлебная закваска, все равно деваться некуда.

— Можно, — ответил я, оберегая свой исколотый зад от ухабов на дороге и неожиданно возвращаясь к тому тлеющему ощущению выздоравливающего человека, который успел подзабыть.

Нервы были ни к черту! Они провисли, как бельевые веревки, и любое воспоминание приводило их в смятение, и не только потому что меня едва не убил «замок», я не спал, как все нормальные люди, мне раз за разом, как кошмар, снился Калинин, позывной Болт, с окровавленной культей, я тащил его по минному полю, на его губах пузырилась кровь, а над нами свистели пули; мне снился человек, ни фамилии, ни позывного которого я не знал. Он вдохновлено показывал мне позицию. Вдруг голова у него вспухла, как красный шарик, и я оказался обрызганным кровью и мозгами с ног до головы. Больше всего испугался человек, который отвечал за мою безопасность, Ефрем Набатников, позывной Юз, замкомроты — «замок», рубаха-парень, готовый и в огонь, и в воду, и просто страшно, невероятно везучий, как черт, но осенью пятнадцатого почему-то прикрывшийся мною от мины. С тех пор меня рвало непредсказуемо, в любом месте, абсолютно без видимых причин, и люди смотрели на меня, как на алкоголика, а у меня всего лишь непроизвольно облегчался желудок, поэтому я ел, как птичка, чтобы никого не пугать и не смущать.

Ефрем Набатников, позывной Юз, заорал срывающимся голосом: «За мной!», и мы побежали в тыл, а по нашим позициям ударила артиллерия и еще парочка крупнокалиберных пулеметов. С тех времен я знаю, что такое быть виноватым в чьей-то смерти. Я назвал того человека Томом Клэнси, потому что, когда мы пришли в землянку, он читал книгу именно этого автора, «Охота за «Красным октябрём»». Больше я о нем ничего не ведал; был он подслеповатым, очкастым, с седой щеточкой усов, и когда говорил, чувствовалось, что у него вставная челюсть. В начале войны в ополчение брали всех умеющих мало-мальски стрелять, и не умеющих — тоже. Я хотел о

нем написать, но Ефрем Набатников сказал, что у него даже нет списка добровольцев, люди приходят и уходят, когда им заблагорассудится. «Это и есть гражданская война,— сказал он с тем выражением, когда констатируют неудобный факт, но деваться некуда.— Ты не пиши об этом, не надо...» «Почему?!» «Ну а что ты напишешь? Мол, старик пришел и умер от шведской разрывной пули?» «Так и напишу»,— уперся я. «Ну как знаешь,— покривился он, словно от кислого.— Мне известно, что у него никого нет, что он разведен, а жена с детьми в Италии». «Откуда?» «Рассказывал по пьянке. Знаю, что сын у него — мелкий воришка, а жена три раза делала аборт от разных мужиков. Так что смерть для него даже подарок». Действительно, подумал я, писать не о чем, миллионы людей мучаются и корячатся примерно так же. Мужику даже повезло — умер моментально, ничего не поняв.

Я забывался лишь на рассвете в короткой передышке, загнанный кошмарами, до утреннего градусника. Выздоровление мое становилось все более эфемерным, и мои бесконечно терпеливые Репины, дабы не закапывать меня на ближайшем погосте, мудро решили забрать к себе и выходить, как бездомную собаку. Денег на жизнь им вечно не хватало, а тут еще иждивенец свалился на голову. Я знал, что Валентин имел долгий разговор с главврачом Борисенко, и примерно догадывался о его содержании: мол, кормить и еще раз кормить, и никаких отрицательных эмоций, только положительные, тепло и внимание, а если женщину, то исключительно жалостливую, но не слезливую и, тем паче, не крикливую, душевную, проникновенную, мягкую и покладистую. Ну а где ты такую возьмешь? Сейчас такие не рождаются.

Все каким-то необычайно хитрым путем возжелали ублажить мой посттравматический синдром, как будто он был маленьким, пушистым котенком, а не монстром, дремавшим до поры до времени у меня в голове. Фонд, за счет которого меня патронировали, благополучно испустил дух, и я не представлял, где возьму деньги для ближайшей операции.

Однако все это относилось к будущему, которое могло и не наступить, поэтому я нарочно сделал большой глоток дагестанского «Лезгинка», дабы погасить в себе дремлющее чудовище, и живительная влага растеклась по моим жилам. Я дал себе слово жить одним днем, одним часом, одной минутой, только так можно было спастись от мыслей о прошлом, оно сделалось опасным, как неразорвавшаяся мина, терзало меня в моменты забвения и не давало себя обмануть, потому что всегда и везде было многократно сильнее, чем я.

— Ну и правильно,— согласился Валентин Репин, заметив мой испуг, только он, надеюсь, не понял, к чему он относился.

— Мы тебе здесь невесту нашли,— с ходу взяла быка за рога Жанна Брынская, внимательно следя за дорогой и заслуживая ироничный взгляд Валентина Репина, который, должно быть, хотел сказать, что хорошая новость, как ложка дегтя, подается к обеду, но никак не раньше.— Аллой зовут, моя институтская подруга.

Ее прекрасные карие глаза вопросительно скользнули по моему отражению в зеркале.

— Вот этого мне только не хватало,— среагировал я, избегая ответной реакции, потому что оттуда на меня глядело костистое, осунувшееся лицо изможденного человека, который, в отличие от Репиных, не питал никаких иллюзий насчет своего будущего, разве что утешался мыслью вернуться в окоп и подохнуть в нем, но даже это отныне было роскошью, поскольку для войны он стал непригоден.

— Зря, старик, зря,— покровительственно сказал Валентин Репин,— женщина для того и создана, чтобы опекать и холить! Правда, Жанна Брынская?! — с вызовом спросил у жены, поправляя свои огромные роговые очки, которые делали его похожим на бронтозавра.

В тот же вечер я их ему сбил, в попытке с кем-то сразиться, оставив на переносице Валентина Репина багровую ссадину; пить надо меньше, каялся я поутру, прекрасно осознавая, что в последней стадии опьянения алкоголь действует на меня неадекватно.

— Правда, Валик, правда,— согласилась Жанна Брынская с тем долготерпением, которое свойственно мудрым женам, и мы застряли в пробке.— Миш,— обратилась ко мне Жанна Брынская,— а чего ты теряешь? Тебя же под венец не тащат,— она по-свойски мне подмигнула, хорошо хоть Валик не заметил.— Познакомитесь, поболтайте, может, понравится друг другу.

Они словно забыли о моих: Наташке Крыловой и о дочке Варе, которые для меня никуда не делись. И я простил их за короткую память, не скажешь же им, что я самый дрянной беглец от прошлого, которое не отпускает, которое вцепилось, как самолов, и держит, как швартовый канат, что оно мечет в меня стрелы воспоминаний и одаривает такими снами-кошмарами, от которых хочется повеситься. Просто они хотели мне помочь. Это было частью их заговора с главврачом. А еще они были моими друзьями из того самого ужасного прошлого.

— Предпочитаю мужчин! — заявил я, ни капли не моргнув глазом.

— Мужчин?! Но почему?! — чуть ли не плюнули они мне в лицо, как две кобры; а Жанна Брынская еще в праведном гневе ударила и по тормозам, чем вызвала цепную реакцию позади нас.

— Потому что с мужчинами можно пить, курить и сквернословить,— разочаровал я их.

— А-а-а... поэтому...

То-то я их огорошил, а потом — рассмешил.

— Старый солдат не знает слов любви? — иронически осведомилась Жанна Брынская, вопрошающе вскинув жгуче-польские брови.

— Ты посмотри на меня...— угрюмо возразил я, глядя на свои тощие, как стручки, колени, на руки, торчащие, словно две куриные лапки, из обшлагов куртки, хотя причина, конечно же, была не в этом,— какой из меня жених?!

Коньяк сделал свое дело, язык у меня развязался, обычно я не слишком болтлив, полагая, что в этом мире все уже сказано.

— А чего?..— удивленно обернулась Жанна Брынская, перестав разглядывать меня в зеркало заднего вида.— Ты еще ничего. Правда, Валик?

Она происходила из древней польской шляхты, умела делать неприступное выражение лица, была заведующей аптекой, что на Циолковского, в которой торговала не только лекарствами и пробиотиками, но и из-под полы — ведьмиными снадобьями, и жила совершенно в ином мире, чаще всего в интернете и еще где-нибудь, где нет войны, боли и душевных потерь, любила своего мужа-изверга и наслаждалась столичной жизнью, выращивая целлулоидные антуриумы и бонсай, и, слава Богу! Такие женщины, мечта любого нормального мужчины (слава Богу, я был ненормальным), живут долго и счастливо, одаривая всех вокруг светом небесной радости.

— Правда, рыба,— с ехидным прононсом согласился Валентин Репин.— Были бы кости, а мясо нарастет,— со смешком уточнил он, будто не верил ни во что святое, а только — в великую ипохондрию и великие горы, и мы помчались дальше.

Женщины меня давно не прельщали. С женщинами у меня были сплошные проблемы. И я невольно вспомнил, как тогда, когда считающий себя еще журналистом, пять суток выбирался из окружения и как к нам прибилась испуганная женщина, с которой мы грелись по ночам, прижимаясь друг к другу, потому что костер нельзя было разжигать, и как я был безмерно ей благодарен за неожиданно подаренную нежность. Эта нежность долго жила во мне, как огонек в степи. Однако в госпиталь, где я лежал с ранением в бедро, эта женщина с зелеными глазами так и не пришла.



Так вот, она мне показалась олицетворением той самой женственности и безмерного терпения, ведь обычной пошлости, которой полно в сытой, размеренной жизни, между нами не было даже намеком. Наверное, в этом была виновата война и обостренное чувство неизбежной гибели — стоило укрофашистам отрезать нас от Лисичанска, мы бы пропали. Кстати, она единственная меня не бросила: все ушли, а она осталась, и мы кое-как доковыляли, попав один раз в изрядную передрыгу. Эта передрыга мне периодически снилась: я впервые убил человека, глядя ему в лицо, до этого я стрелял только по фигуркам в степи и не соотносил их со смертью, а здесь — глядя в лицо. Я не был спецназовцем, я не был омовцем, я даже не был добровольцем, я был случайным прохожим, забежавшим на войну по служебной надобности. Пулю, застрявшую в боку, под ребром, я выковырял самостоятельно, она мешала мне идти; с ногой оказалось хуже, потому что я не мог дотянуться, а попутчики мои были для этого дела абсолютно негодными, взглянув на рану, они падали замертво, требуя задаток в виде спирта, мата и подзатыльников.

Звали женщину Ника Кострова, и я до сих пор ломаю голову, почему она не пришла хотя бы проведать? Неужели я ошибся в ней, я не знаю; я уже давно живу без претензий к этому миру.

Меня привезли, подняли на седьмой этаж и водворили в отдельную комнату с ликами Божьей Матери на стенах и красными антуриумами на подоконниках. Здесь было тихо и спокойно; впервые за полгода я почувствовал себя человеком, меня даже перестало тошнить.

Прежде чем залезть в ванную и привести свои мощи в божеский вид, я, испросив у Валентина Репина разрешения, сел за его компьютер и разослал во все редакции современной прозы роман об актере Андрее Панине, которого обожал и который единственный не давал мне сдохнуть на госпитальной койке.

Мне нравилась его настоящая, а не лакированная харизматичность киношных мальчиков с московских подмоствок. Достаточно было взглянуть на его лицо со шрамами, на неоднократно перебитый нос, на сломанные уши и деформированные кулаки, чтобы поверить в него без остатка, а главное — в нем было то мужество, которое редко встречается в жизни — способность идти до конца; можно сказать, что я кое-чему у него научился, например, не мечтать о пустопорожнем, а заниматься делом. Я писал роман-надрыв в перерывах между операциями; мне снилось, что я подбираюсь к чему-то большему-большему, но никак не могу ухватить его. Я уже знал, что все подлинное — трудно, поэтому вложил в этот роман всю душу, а еще я понял: зреть в корень — это смерть, пусть отсроченная, но все равно смерть, но деваться было некуда.

После этого я позволил накормить себя «до пуза». Потом я спал, потом снова спал, потом еще раз спал, и только глубоким вечером мы пили водку и вспоминали всех тех, кого уже не было с нами. Кажется, началась суббота, и Валентину Репину не надо было утром топтать на работу.

Работал он, кстати, на «Мосфильме», вторым перфекционистским режиссером, снимал рекламные ролики и клипы, но мечтал о большом кино, и рвал на мелкие клочки все хорошие книги от безысходности.

— Мне уже сорок три! — кричал он в запале. — Какой ужас!!! А я все еще на побегушках, и никакого просвета! — рыдал он над своей тайной после третьего стакана водки.

— Да... старик, не повезло тебе, — сетовал я, но ничем помочь ему не мог, разве что слопать его порцию жирного гуляша, которым в тот вечер так и не наелся.

Уловив мою иронию, он цедил, сжав зубы:

— Все равно я буду снимать!

Порой он, как маленький, тыкал в экран и дико кричал: «Это я, я, я!» Вначале мы с Жанной Брынской прибегали смотреть и радовались вместе с ним, а потом — через раз, потом — перестали, надоело.

— Это переходный возраст,— догадался я, глядя на Жанну Брынскую, которая тихо осуждала Валентина Репина за горячность.

— Миша, это не переходный возраст, это старость! — Жанна Брынская пребольно дернула мужа за рукав.

И я знал, что свою работу он обожает, и завидует мне черной завистью: мол, воевал, получил ранение, хоть какое-то развлечение, стал героем и все такое прочее, не менее историческо-романтическое, только забывал, что я едва не сдох. А на эту самую проклятую войну его не пускала Жанна Брынская. На мой же взгляд, мог бы сбегать в качестве хоть первого, хоть второго режиссера, а потом снять фильм, потому что об этой войне явно умалчивала киношная и литературная элита Москвы. То ли она ее не понимала, то ли ее просто не интересовала, а, может, то и другое вместе взятое. Некоторые, правда, заявлялись с одной единственной целью — попиариться на крови Донбасса с прицелом, ни много ни мало, на президентство вслед за Путиным, ну да Бог-то им судья.

А бандеровцы убивали нас за то, что мы думали и говорили по-русски.

\* \* \*

В отличие от больницы, где еда была не лучше, чем конский пот, теперь меня откармливали, словно бройлера: куриные потрошки, бульончики, пышные булочки со страусиными яйцами и разнообразнейшими паштетами, котлетки, рагу, нежнейший ростбиф, все виды шницелей, отбивные, узбекский плов, разумеется, холодец, водка, коньяк, пиво и прочее, и прочее, и прочее не менее вкусное и сытное. Жанна Брынская крутилась как белка в колесе, истощая семейный бюджет не хуже мировой войны. Правда, иногда филонила за компьютером, и тогда из ресторана приносили первое, второе и третье, а на закуску — огромную пиццу, которую мы с Валентином Репиным уминали в два счета под пиво и хвалу его жене.

Обычно Жанна Брынская заглядывала ко мне в комнату и спрашивала:

— Миша, бульончик будешь?

— Какой?

— Куриный.

— А с чем?

— С чесночными пампушками.

— Буду! — вскакивал я.

У меня был отменный аппетит, я все время что-то жевал и решил, что попал в рай, и даже стал дремать по ночам, дабы не оставлять шансов кошмарам, которые таились где-то на периферии сознания. Порой они крутились, как документальное кино, с любого места. Например, мы оставляем Степановку, я оглядываюсь на человека, который бежит ровно за мной; я стреляю и вижу, что попадаю: пули рвут на нем одежду, а он не падает, потому что в броннике и потому что обколотый вусмерть, а дважды убить уже нельзя, но я все равно стреляю и стреляю, а он все не падает и не падает, а только хищно ухмыляется.

А еще Жанна Брынская по утрам поила меня настойкой болиголова. «Я знаю, что я делаю!» — авторитетно заявила она в ответ на мои возмущения: а не отправят ли меня нарочно с помощью алкалоида кониина к праотцам. К моему удивлению, я начал семимильными шагами продвигаться к поправке: кровоподтеки от капельниц на моих руках быстренько сошли, синяки под глазами побледнели, контузия моя нехотя

отступила, я даже лучше стал слышать, и все больше походил на человека, у которого даже волосы стали расти гуще и скрывали шрамы. Я постригся под «полубокс» в ближайшей цирюльне, и походка моя с аптечной палкой сделалась тверже и уверенней. Меня исподволь перестало тошнить, и я воспрянул духом. Продавщицы в соседнем супермаркете почему-то стали бледнеть и краснеть, глядя на мои мощи. А одна бедняжечка, на личной карточке которой значилось имя «Татьяна Мукосей», даже трижды мило сообщала, что свободна после семи. «У вас в горле перекатываются голодные камушки»,— поведала она зачарованно, глядя мне в глаза. Дважды я замечал ее у подъезда дома, где жил, и стал ходить, озираясь. В Донецке я не привык к подобным знакам внимания и не знал, что нравлюсь женщинам до такой степени, чтобы бегать за мной собачонкой, ведь моя жена уверяла меня в обратном: «С твоим рубильником и голодным подбородком ты годишься разве что в зоопарк!» Должно быть, москвички были другого мнения, или им некуда было деваться при такой скученности и дефиците мужского внимания, вот они и кидались на отработанный материал вроде меня.

А потом они все испортили: привели Аллу и устроили банкет с шампанским и брызгами. Спешите, братцы, спешите, подумал я и заподозрил, что меня хотят сбавить с рук. Хотя, конечно же, это было не так; Репины мои были самыми бескорыстными людьми, которых я знал в жизни, их мучила ностальгия по прошлому. Есть такая болезнь — неизбывная любовь к прошлому, я тоже исподтишка страдаю ею, когда мне делать нечего. Люди такого склада, а их надо уметь разглядеть, становятся настоящими друзьями, стоит только попасть в их обойму.

Звонок в дверь и мышиную возню в прихожей я, естественно, пропустил мимо ушей: мало ли кто ходит к моим друзьям на правах гостей. Жанна Брынская, как обычно, позвала обедать, и я в предвкушении вкусовых и с бурчанием в животе, способным разбудить медведя в берлоге, оторвался наконец от Валикиного ноутбука, на котором барабанил с утра до вечера, выбежал из «своего» обиталища опять же в Валикином коротковатом и маловатом халате, в Валикиных походных шельварах и Валикиных же тапочках на босую ногу. К своему конфузу, я обнаружил на кухне шикарную шатенку, до странности похожую на мою жену, если бы не одна деталь: глаза у моей жены были карими, а у шатенки — синие, как циферблаты моих часов. Мне так и захотелось позвать ее по имени — Наташка, хотя такая шикарная женщина могла прийти к кому угодно, но только не ко мне. Наверное, там, в темноте коридора, прячется еще кто-то, решил я, сейчас он выйдет и покажет мне средний палец. Разумеется, я помнил, что они меня желали с кем-то познакомить, но не ожидал, что это произойдет так быстро. А самое главное, морально не подготовили к экспромту.

— Здравствуйте...— растерялся я и убрался, чтобы натянуть единственный парадно-выходной костюм, то бишь свою зеленую униформу.

— Алла, это Михаил,— представила меня Жанна Брынская, когда я вернулся, чтобы засвидетельствовать свое почтение.

— Миша, это Алла Потемкина,— мы тебе о ней говорили.

Лицо Жанны Брынской выражало искреннее участие в моей судьбе.

— Очень приятно,— выдавил я из себя.

Сорок шестой размер, такой же, как и у моей Наташки, безошибочно определил я, рост метр шестьдесят три, грудь — третьего размера, только брови густые, новомодные. У Наташки — тонкие и длинные. Маникюр розовый, ухоженный, неброский, со вкусом, тоже такой же, как у моей жены. И духи выдержанные в холодном аромате. А абрис скул голодный и стремительный, словно нацеленный куда-то во вне.

В общем, все, что я любил в прошлой жизни, а в настоящей — относился с большим сомнением, подозревая в дешевой имитации, ибо был убежден, что в жизни ни-

чего не повторяется, кроме моих кошмаров. Казалось, Алла Потемкина, с ее манерами красивой женщины, все поняла, сжала кулаки и густо покраснела.

Валентин Репин быстренько замая образовавшуюся неловкость:

— Ну, рыбы... за знакомство!

И мы выпили: мы с Валентином — водку, а женщины — какую-то кислятину. В общем, Репины очень и очень постарались: Алла походила на мою жену как две капли воды. Я так и сказал, закусывая:

— Вы очень похожи на мою Наташу.

— А что в этом плохого? — занервничала Жанна Брынская, аж подпрыгнув из-за моей бестактности, и сноп молний полетел в мою сторону, как в сериале «Властелин колец».

— Ничего,— пожал я плечами.

Тогда она смутилась.

— Простите, я не знала...

Быстрый взгляд в сторону Жанны Брынской значил, что ее, действительно, не предупредили.

Жанна Брынская тоже покраснела, что чрезвычайно шло к ее волосам, цвета темной меди. Она их по старинке укладывала волнами.

— Ну что? Когда-то же надо начинать. Ты лучше ешь! — подсунула мне котлетку величиной с утюг и в отместку полила ее сливовым соусом, чтобы я не болтал лишнего, а трескал за обе щеки.

Я не сказал им, что мы поколение, которому брошен вызов и что мое место там, в Донбассе, а не здесь; кто его знает, наверное, они просто рассмеялись бы мне в лицо, потому что ничего не поняли бы от своей размеренной, городской жизни, просто я им нужен был, чтобы утвердиться в ней еще сильнее и презирать меня, неудачника и калеку.

С минуту я пожирал содержимое моей тарелки, как голодный неандерталец, который неделю бегал за лосем по лесу. А очнулся только тогда, когда понял, что все зачарованно смотрят на меня, особенно — Валентин Репин, потому что давно держал на весу рюмку водки и ждал, когда я насыщусь. Никогда в жизни я так много и вкусно не ел, как в те дни.

Они были сытыми и упитанными горожанами, спящими в чистых, теплых, уютных постелях. Им трудно было понять, каково это иметь половину своего природного веса, не доедать весь предыдущий год и носиться по полям и весям с автоматом в руках. Я часто потом встречал у москвичей этот оценивающий взгляд. Они, верно, думали, что ты испытываешь, когда в тебя стреляют в опор, но почему-то не попадают, или когда рядом громоподобно взрывается мина и все окрест осыпает градом осколков, но в тебя почему-то не попадает ни один осколок, или когда ты притаскиваешь с нейтралки раненого товарища, а он уже мертв, или когда ты ешь рядом с мертвым товарищем, потому что надо есть. Многие спрашивали меня об этом, однако, я ни разу в своих рассказах не добился достоверной точности, чтобы меня правильно поняли, трудно было передать то, что передать невозможно, поэтому я перестал правдиво отвечать на подобные вопросы, отделяясь односложными фразами типа: «Было жутко, но не страшно». Самое удивительное, что мне верили из-за опасения повредиться в рассудке, потому что это была не та, «старая», война, о которой все знали из хроники, а совсем «свежая», чисто славянская, с умножающимся ожесточением, и она могла прийти в любой дом, дотянуться даже сюда, в Москву. Никто этого не понимал, кроме меня и нескольких тысяч людей, сидящих в окопах на западном фронте.

— Простите,— устыдился я.— Я все время голоден,— и отложил вилку.

Я месяцами ел прогорклую овсяную кашу и полусырую картошку без соли, теперь набирал упущенное, и ожидание мое было оправдано. «У вас типичное окопное истощение»,— сказала мне монументальная врачиха, пальпируя мой тощий живот на третий день госпитализации, и плотоядно глядела на меня как на экспонат для диссертации.

— Это... рыба... ешь, ешь! — с прононсом произдевался за всех Валентин Репин.— Ты не гляди, что мы здесь зажрались! Мы свои, только притворяемся равнодушными!

Валик один меня понимал, он не был исконным москвичом, он был с Урала и знал, что за МКАДом тоже есть жизнь.

— Здоровый мужской аппетит,— возразила Алла Потемкина таким покровительственным тоном, словно взяла меня под опеку.— Вы же воевали?!

А вот этого не надо! — едва не запротестовал я. Не надо списывать на мои болячки.

Они сделали из меня страдальца. А я не хотел им быть. На страдальцах потом отыгрываются по полной за то, что они не оправдывают твоего доверия, выскальзывают из сетей сочувствия и становятся равным тебе. А это раздражает. А еще я вспомнил Нику Кострову. И задал себе избитый вопрос: «Куда ты пропала?» И сам ответил себе: «Потому что такие женщины всегда замужем». Я подумал, что Ника Кострова более цельная, чем я себе представлял, оттого и пренебрегла мной.

— Еще бы, накормить такого мужчину,— поддакнула Жанна Брынская, намекая на мой рост и костистость.

А Валик вежливо напомнил:

— Рука затекла...

Я спохватился: мы выпили еще и еще; и я, наконец, расслабился. Мне даже стала нравиться Алла Потемкина, хотя я не доверял ей. С какой стати она, такая красивая, умная и, должно быть, состоявшаяся, будет интересоваться мной, отставной козы барабанщиком? Нелогично!

Я даже представил наш диалог:

— Вы не москвич, вам трудно понять,— ответила бы она, отчасти смутившись своей откровенности.

— А-а-а... — кое о чем догадался бы я и перекатил бы в горле голодные камушки.— Дефицит мужчин?

Я представлял всех москвичей, без исключения, в галстуках и белых рубашках, всех спешащих и всех чрезвычайно занятых делом и зарабатывающих кучу денег, не зная, куда их девать.

— Нет,— удивила бы она меня.— Настоящих мужчин!

— Уверю вас, я не настоящий,— поскромничал бы я, полный, однако, гордости за весь донецкий мужской род.

Она засмеялась бы, как моя Наташка Крылова:

— Самый что ни на есть настоящий! Уж поверьте мне, я знаю!

Оказалось, я подвергался бы анализу! Я был бы удивлен, чего там греха таить, даже возмущен до глубины души. Репины, естественно, выложили бы обо мне все, что знали и о чем догадывались, и от этого я почувствовал бы себя словно голым на Красной площади.

— Спасибо,— ответил бы я с горечью, потому что моя Наташка была неповторима, иначе стал бы я волочиться за Аллой Потемкиной.

Однако реальность оказалась хуже, чем я ожидал, и походила на ледяной душ: Алла Потемкина владела сетью «Аптечный рай», «Сталинская аптека», «Аптека на перекрестке» и еще чем-то там, чего я не расслышал, у нее был серебристый

«бьюик», скромный домик на Рублевке за каких-то двадцать пять миллионов долларов, усадьба в Альгаве и аллигатор в бассейне. Конечно, это оказалось не так, конечно, половину я придумал всего лишь в раздражении, даже московский снобизм припел, но Жанна Брынская страшно ей завидовала, и они болтали об этом весь вечер, казалось, потеряв всякий интерес ко мне. У меня не было опыта общения с бизнесвумен, и я подумал: «А ничего, что она из другого класса?» Но в тот вечер и после она никогда мне этого не показывала.

«Действительно, зачем я ей?» — спросил я себя, и незаметно напился. Много ли тогда мне было нужно? Я сидел, набычившись, пытаясь быстрее протрезветь, и думал, что в этой жизни меня понимала одна моя Наташка Крылова, да и то не всегда, когда наши чаяния совпадали. Последние годы они совпадали все реже и реже, и мы, постепенно удаляясь друг от друга, не могли договориться, хотя, мне казалось, я предпринимал поистине титанические усилия, дабы наш союз не распался. В конце концов, от меня, романтика, остался голый функционал с гигантским знаком вопроса: «А зачем я живу?!»

А у нее была дурная привычка носить длинные халаты, которые скрывали ее длинные ноги, я бы предпочел наоборот, в смысле халатов, однако, увы, в этом плане я был лишен права голоса, ибо был мужчиной, а мужчины в ее понимании не заслуживали ничего большего, чем молчаливое презрение. Так она была воспитана, и так она меня воспринимала.

